

Притча о богатом юноше
Повесть

Местность издавна называлась «бабья сторона», потому что мужское население занималось отхожим промыслом и в хозяйствах работали женщины, на дому и в поле. Короткое лето, плохая почва, обилие лесов делали из крестьянина — плотника, каменщика, землекопа, портного, шапочника... Уходили далеко и надолго. И Егор Лазаревич Тонкий двенадцати лет тоже впервые пошел в отхожий промысел с отцом своим Лазарем Ивановичем.

Двор Тонких был беспосевной, и таких дворов было в деревне много, пять или шесть, а всего деревня была в тринадцать дворов, поскольку деревни в этой местности не велики. Да и посевные дворы держали землю недалеко, отдаленный конец поля метрах в двухстах. Дальноземье встречалось лишь по хуторам и отрубам, у зажиточных, где сеяли не только рожь, овес, ячмень, но и лен и клевер для скота и где вместо сохи да косули работали уже плугом.

Отец Егора Лазаревича имел давнюю мечту — накопить денег и взять отруб, выбраться из деревни на хутор. Пробовали заработать разным кустарным промыслом, плели корзины из ивовых прутьев, из дранки сосновой и еловой, ручным ткачеством изготавливали салфеточное полотно. Но корзины в здешней лесной местности плело множество народу, цена на них все уменьшалась, а как пустили в уездном городе льноткацкую фабрику, изготавливавшую не только простые

деревенские полотна, но и столовое белье, тут уж и ручному ткачеству пришел конец. Занялись рогожным производством — мочальными кулями, циновками, веревками. На рогожах заработок недурен, однако рогожным работам руки нужны. У кого семья большая, тем работать рогожи можно, а малосемейным плохо. Семья же у Тонких была упалая — от нужды и трудов мёрли. Умерли две сестры, умер брат, потом и жена Лазаря Ивановича, мать да два младших брата — одному восемь, другому пять годов. Семья невелика, а кормить все равно нечем. Тогда и пошел двенадцатилетний Егор Лазаревич с отцом в отхожий промысел. Сперва недалеко, здесь же, в уезде, трепальщиками пеньки. Заработок у Егора Лазаревича был семь копеек в день, а к вечеру спина отекала, пальцы деревенели, в суставах не сгибались.

Отец, Лазарь Иванович, далеко от дома идти не хотел, надеялся, что в уезде строительство начнется, говорили, железную дорогу прокладывать будут. Однако, когда в один из отхожих годов вернулся из Прикамья с заработков дальний родственник Юшка-сапожник, да купил лошадь за сорок пять рублей да корову за тридцать рублей, да рассказал, что маляр, или штукатур, или каменщик в месяц может там получить пятнадцать или семнадцать рублей, Лазарь Иванович, едва дождавшись весны, пошел в Прикамье с сыном Егором. Работали землекопами, потом бетонщиками, за летний сезон заработали хорошо, но как пошли вновь зимой, тут уж почти ни с чем вернулись, только поиздержались. Зимой строительных и земляных работ не найдешь, портные нужны, шерстобиты, «волгари» — валяльщики обуви и прочие подобные ремесла. И заработок зимой зависит от того, какой урожай собрали в местности, куда сезонник на промысел идет. Плохой урожай — плохие заработки. С зимним заработком положение неопределенное, и у летнего конкуренция возрастала, так что планировал Лазарь Иванович с нового сезона через Казанскую и Пермскую губернии в Сибирь пробираться. Но и оттуда дошли слухи, что много

лишних рук появилось, в летний сезон на земляных работах от зари до захода в месяц восемь-десять рублей получается. От Юшки-сапожника узнали: в Нижегородской губернии неплохо заработок на сплаве. И верно, заработали неплохо, сплавливая строевую древесину по мелким рекам, да подрядчик обсчитал. Домой возвращались, и от отчаяния и злобы Лазарь Иванович сентябрьским днем на ярмарке в богатом нижегородском селе Крутец те тяжело заработанные деньги пропил до последнего медного гроша. Пропил, а потом повесился за селом на суку старой рябины у железнодорожного полотна. Да к счастью своему, петлю делал непослушной, пьяной рукой и сук выбрал спяну непрочный, так что висел недолго. Когда прибежал Егор Лазаревич, отец уж лежал под рябиной с обрывком веревки на окровавленной шее, а вокруг толпился праздный, пьяный народ с ярмарки, и толстый станционный жандарм говорил:

— Спычки... Спычки надобно... Не видать ничего...

А какой-то молодой голос спрашивал:

— Дедушка Абрамушка, это что?

— Что? Висельник оборвался... Вишь, в горячке лежит...

Лазарь Иванович, и верно, дышал часто, неравномерно, как в горячке, но был не горяч, а холоден, и когда плачущий Егор склонился над ним, то отец с искаженным судорогой лицом, мокрыми от пота ледяными руками вдруг вцепился в Егора, как утопающие хватаются за пытающихся спасти их пловцов, увлекая вместе с собой в пучину, или, как рассказывают, на кладбище ночью мертвецы хватают запоздалых прохожих. Егор дико закричал и начал вырываться, но отец не пускал, держал цепко, мертво, зрачки его были сужены, и он смотрел куда-то мимо Егора, сквозь шумящую под ветром листву рябины в ночное небо. Егор уж было совсем потерял себя от ужаса, однако чьи-то живые, теплые руки вырвали его из мертвых, холодных рук отца.

— Это он в бреду, — сказал чей-то голос, такой же теплый и живой, — ты, парень, не бойся, вон уж фельдшер идет. Фельдшер у нас хороший, в́ыходит.

И верно, через час с небольшим после кошмара сидел Лазарь Иванович на лавке в теплой избе рядом с сыном Егором,пил поданный ему в жестяной кружке подслащенный кипяток с молоком и говорил умиленно-плачущим голосом:

— Вот, Господи, спасибо, что не помер. Ведь и отпевать-то не за что. Здешний поп за отпевание небось пятерку берет, а то и более?

— И за десятку не стал бы, — сказал хозяин избы Иван Зелейник, сельский кузнец, спасший Егора из страшных объятий полумертвого Лазаря Ивановича, — тебе, грешному самоубийце, теперь одна дорога к спасению — жалуйся постоянно Богу на самого себя...

Иван Зелейник был человек набожный, зажиточный, добрый, и взял он Лазаря Ивановича к себе в кузницу молотобойцем и Егора тоже пристроил меха тянуть и инструмент подавать.

В кузнице Егору работа сразу понравилась. Пахло там чистым, горячим железом, краской и угольным дымом, но не душливо, как на фабрике, а приятно, словно кашу варят. Сказал это Егор хозяину. Хозяину понравилось, засмеялся.

— Только каша у нас железная, — говорит, — ты старайся, малый, ты дело люби... Я тебя кузнечно-слесарному ремеслу обучу...

И верно, месяца не прошло, а уж знал Егор кузнечный инструмент, весь набор молотков различной формы, аккуратно расставленных и развешанных, каждый на своем месте. Знал, где какие клещи, гладилки, гвоздильни, зубила, пилы, сверла, отвертки. Вскоре уж кузнечным масштабом и шаблоном пользоваться научился. Сообразителен был Егор, хоть ему еще не хватало для кузнечной профессии

мужской силы. Однако и силу наживал, тем более был он породой в отца своего, Лазаря Ивановича, так же плечист и короткорук. Вскоре доверил ему хозяин легкую кувалду в три килограмма. А тяжелой, десятикилограммовой кувалдой с метровой рукоятью отец работал — Лазарь Иванович. Красно-белое раскаленное железо шипит на наковальне, хозяин-кузнец с полукилограммовым ручником — дон-дон — ударом ручника указывает место, по которому должен ударить молотобоец, дон-дон-дон-дон — условным числом ударов указывает силу удара молотобойцу. Все это усвоил Егор и еще во время передышки не лежал, как отец его за кузней на траве, попивая квас. Второпях поест хлеба с луком и с солью, водицей запьет и у хозяина Ивана Ивановича спрашивает: «Это что? Это для чего? Это из чего?» А хозяин Иван Иванович времени своего не щадит, объясняет, отвечает.

— Это на молоте часть железная, а к ней с обоих концов приварены части стальные. Вот то, что спереди, — боек, а то, что сзади, — задок, или «хвост» еще говорят.

Когда же меняли в кузнице старую чугунную наковальню на новую стальную, то Иван Иванович взял подсобить не Лазаря Ивановича, а Егора, хоть наковальня тяжелая, сто килограммов. С работой Егор умело управился, а после работы опять свое: «Это что? Это для чего? Это из чего?»

— Старая наковальня тоже хороша была, — поясняет хозяин, — это чугун не простой, а ковкий, да накладка стальная. Но ведь еще отцу Ивану Андреевичу служила. Теперь же время иное и механика другая. Эта, видишь, вся стальная. Легче прежней, восемьдесят кило всего весит, а прочней. Ее в случае надобности и менять-то всю не надо. Только верхняя часть сменная. Нижняя — это ступ называется, или «шабота» еще говорят. Соединена лишь скобами. Скобы отсоединил и снимай... Эта наковальня еще и зятьям моим послужит, поскольку сыновей, к печали своей, не имею.

Зато дочери хороших зятьев приведут. Вот отдам Марфу, а глядишь, и Катя подрастет, — и глянул, весело прищурясь, на Егора.

За ладную работу по смене наковальни подарил Иван Иванович Егору новые сапоги с длинными голенищами, а картуз и красную рубаху Егор себе в сельской лавке купил.

— Ты теперь и впрямь жених, — сказал Иван Иванович и опять весело прищурился.

А отец, Лазарь Иванович, наоборот, улучил момент, отозвал в сторону и говорит:

— Ты чего роскошествуешь? Для того я тебя на доходный заработок взял, чтоб ты мотовством занимался? Ах ты, коровья болячка! — и ударить хотел.

Но Иван Иванович заметил и не допустил:

— Ты мне, грешник, гляди... Ты более иных для спасения своего по Писанию должен жить, чтоб в Царство Божие войти.

Было это уже весной, за неделю до Пасхи, перед Вербным воскресеньем. Шли из церкви солнечным утром с небольшой облачностью. В Егоровой деревне, как и повсюду в «бабьей стороне», церковь была маленькая, деревянная, под стать богомольцам своим бедная, с темными, дурно писанными образами, а кóлокола по бедности и вовсе не было. Церковный сторож Шостак Федоров скликал богомольцев ударами в билу, металлическую доску, стоявшую подле церкви. Как-то рассказал о том Егор Ивану Ивановичу, и тот ужаснулся:

— Какая же на Божьей деточке экономия... Нет, нехорошо... Мы маленькие крестики несем, а Божья церковь большой крест несет для всех, поскольку каждая церковь есть дом Божьей деточки... Идешь в церковь, Егор, всегда проси великие дары, не проси мелочей, богатства или здоровья... Богатство и здоровье — дело людское. Не проси у Бога людского, проси Божьего. Все, что в такой великой молитве попросишь, все сбудется.

Здесь, в селе Крутец, церковь была красивая, каменная, с колокольней.

— У нас первоначально тоже колокольни не было, а колокола висели под навесом, в звоннице, — рассказывал Иван Иванович, — да не пожалел народ денег, колокольню пристроили и колокола сменили. Слышишь, как большой колокол до слез понимает? Это колокольный металл, шестьдесят процентов меди, сорок процентов олова. А ежели цинк или свинец примешивать или, как, например, в церкви фабричного поселка, колокол из сплава чугуна и стали повесили, то это в ущерб качеству, а стало быть, в ущерб радостному торжеству. Ну какой от сплава стали с чугуном звон может быть? Такой звон, как пружинный звонок, ухо режет. Звон колокола тишины нарушать не должен. Чтоб слушал человек и вспоминал о тишине той ночи, когда стояла звезда над Вифлеемом и когда человеку была дарована дорога к Богу.

Иван Иванович всегда говорил о Боге с чувством, с ласкою, и сердце Егора трепетало, ибо был он для Егора и учителем хлебного ремесла, и апостолом Божьим, и отцом Кати, на которой мечтал со временем жениться. Чем более любил Егор Ивана Ивановича, тем более сторонился он Лазаря Ивановича, отца родного. И Лазарь Иванович, отец родной, конечно же, это заприметил. «Ах ты, леший, — думал он, — ах ты, срамник, ах ты, харя постыдная... Ну, погоди...»

Уж несколько раз приставал, придирался, уж и по шее бил за пустяк какой-нибудь и вот сейчас, после церкви, тоже намеревался, да Иван Иванович заметил, напомнил про грех самоубийства, на Лазаре Ивановиче имеющийся, и про Царство Божие, куда каждый должен стремиться. А Лазарь Иванович хоть и пил много, хоть и пропивал свой разум, но еще не весь вчистую пропил. Отвечает Лазарь Иванович Ивану Ивановичу, хитро глянув.

— Я, — говорит, — Писание тоже знаю, поскольку происхожу из семьи бедной, но набожной... Мне и имя, — говорит, — по Лазарю святому дано... Это ты, — говорит, —

Иван Иванович, должен беспокоиться, ибо сказано Иисусом Сладчайшим: трудно богатому войти в Царство Небесное... Удобней верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие... — И засмеялся Лазарь Иванович, решив, что уязвил неотразимо.

Но отвечает Иван Иванович Лазарю Ивановичу:

— Дурно ты и тебе подобные понимают Писание и слова Учителя... Есть и для богатого путь войти в жизнь вечную, соблюдая заповеди.

— Нет, в Писании сказано — раздай имущество свое нищим, — язвит Лазарь Иванович.

— Святым странником я стать не могу по семейным обязанностям, — отвечает Иван Иванович, — а стать гнусной пьяной голью не желаю... Ты мыслишь, что всякий голодранец за пьянство свое, за разорение свое да за то, что рабски подставляет голову под молот судьбы, войдет в Царство Небесное? О том ли говорил Учитель?

Разволновался Иван Иванович, в принципе человек спокойный, покраснел.

— Это подлость, — говорит, — так мыслить... Уходи тогда вон от меня...

— Ладно, — отвечает Лазарь Иванович, — пойду... Готовь мне и сыну расчет.

— Нет, — говорит Егор, — я здесь останусь.

— Ах, чтоб ты сдох, — говорит Лазарь Иванович, — так ли сын отца почитает... В Писании что сказано? Такой сын по Божьему благословению должен быть наказан отцовской рукой.

Однако бить сына прилюдно Лазарь Иванович не решился, да и вообще вскоре опомнился, к Ивану Ивановичу прощения просить пришел, хоть злобу затаил.

— Я, — говорит, — от несчастной запойной болезни нервами страдаю. Уж простите, благодетель Иван Иванович.

Иван Иванович, человек счастливый и здоровый, злобой памяти не имел.

— Добро, — говорит, — помни, Лазарь, заповеди, и жизнь твоя полегчает. Врага своего любить только святой может, а ближнего любить ведь каждый может.

— Верно, — отвечает Лазарь Иванович, — твоя правда, Иван Иванович, верх взяла.

И более Егора не тиранил, не сквернословил, а даже наоборот — был с ним ласков, чуть ли не заискивать перед сыном стал, потому что не оставил мечты о собственном хуторе и на деньги сына рассчитывал. Для Егора же пришли райские времена. Тем более заметил, что Катерина Ивановна ему взаимностью отвечает. И как открылась в селе Крутец весенняя ярмарка, решил Егор и пригласил Катю погулять. Когда осенью шли с отцом со скудных заработков и случайно попали на ярмарку в село Крутец, то Егор тогда и не разобрал, что к чему. Пестрота да шум — вот что запомнил перед тем, как услышал крики и побежал вместе с иными за село к насыпи, где пропивший заработок Лазарь Иванович повесился. Теперь же, весной, в ином сердечном настроении, чего только не увидел Егор, чем только не наслаждался. Еще продолжался Великий пост, и настоящего веселья с каруселями да качелями пока не было. Но уже была праздничная толкотня, и несколько раз толпа прижимала Егора вплотную к Катерине Ивановне, к ее полной высокой груди под ярко-красным сарафаном, отчего Егор становился глухонемой, не слышал, что говорит Катя маленьким своим смеющимся ротиком, только радостно смеялся в ответ, остро ощущая волнуемый запах, исходящий от ее румяного лица. Это был запах вербы, пучки которой продавали повсюду, но для Егора все, что происходило вокруг, было связано с Катей и существовало ради Кати. Ради нее были устроены в несколько рядов палатки да лари, ради нее шумела и весело толкалась толпа, ради нее остроумно кричали лоточники и разносчики товаров. Егор купил у торговца два пучка вербы, себе и Кате. Вербы были украшены бумажными цветами и херувимами из воска. Потом они

выбрались из толпы и пошли за село гулять. Гуляли долго, мало разговаривая, а лишь глядя друг на друга с нежностью. Уж холодом из рощи повеяло и белые облака отяжелели, стали темно-синими ночными тучами, а Егор и Катя все гуляли, не помня где и лишь по высыпавшим звездам угадывая, что уже поздно.

— Поздно уже, Егор Лазаревич, — сказала Катя, — домой пора.

И тогда Егор взял ее за обе руки, а она смотрела на него, запрокинув светло-русую голову, ждала от него первого поцелуя. Егор вдохнул ночной сырой воздух, как для храбрости опрокидывают в горло стакан водки, но поперхнулся, задохнулся с непривычки, и в тот момент откуда-то из темноты, то ли из ближних кустов, то ли с дальнего бледно-зеленого горизонта, кто-то громко, дико, взхлеб захохотал. Так смеялся отец Егора — Лазарь Иванович, когда был злобно пьян и намеревался буйствовать. Егор вздрогнул, сердце оборвалось, упало в низ отяжелевшего живота.

— Это филин в роще кричит, — заметив испуг Егора, сказала Катя, — я тоже его боюсь. То кругами летает, то кричит, как бес. — И она перекрестилась быстрым мелким крестом.

Егор смял картуз и тоже перекрестился. Хоть предположение о засевшем в кустах пьяном отце не подтвердилось и страх миновал, праздничное, радостное состояние уже не вернулось. Было грустно, беспокойно, и местность вокруг казалась угрожающей, суровой, чем-то знакомо опасной. Егор оглянулся и вдруг узнал невдалеке силуэт старой рябины, на которой повесился отец. Сердце опять покатило вниз, на этот раз не от понятного страха, а от неясных предчувствий.

Однако через неделю было большое пасхальное гулянье, и страхи Егора забылись. На ярмарочной площади рядом с палатками да ларьями поставили качели — простые, пара

столбов с перекладной, к которой привязывали доски, перекидные — на двух столбах была прикреплена вращающаяся ось, от которой с краев по радиусам шли балки. А к балкам этим подвешивались кабинки. Ось вращалась, и кабинки поднимались высоко над землей. Сперва Егор и Катя катались на простых, потом на перекидных, о которых было сказано в объявлении, прибитом возле зазывалы — продавца билетов: «Для любителей сильных ощущений».

— Ну-ка, ребята, налетайте, мои билетики раскупайте! — кричал зазывала. — Вам билетики на сигарки сгодятся, а у меня в мошне рубли зашевелиятся!

Как взлетели высоко Егор и Катя, до облаков и солнца ближе, чем до земли, и воздуху вольного вокруг столько, что лети в любую сторону за реку, голубым кривым ножом блестящую среди светло-зеленого поля, или еще далее, за темно-зеленый лес, тучей обложивший горизонт. Однако, повинуясь оси, прочно державшей кабину, опустились опять на горячую душную землю в людскую тесноту. А на земле Иван Иванович, Катин отец, да Лазарь Иванович, отец Егора. Оба праздничные, краснолицые. Спорят о чем-то меж собой, но полюбовно. Как увидел Лазарь Иванович Егора и Катю, прослезился.

— Вот они, прилетели, — кричит, — птенчики наши!..

Белая праздничная косоворотка была у ворота и на левом рукаве залита вином, и его уж приходилось вести, поскольку сам он не шел, ноги плясали не в такт одна другой и не в такт песне, которую он пел:

Время тяжкое подходит,
 Стала турка воевать,
 Англичане с ним вступились,
 Не могут Расаю взять...

Песен пелось во множестве, да многие еще и под гармонику. Вся роща была наполнена песнями и разнообразным звуком гармоник. Гуляющие группами располагались

прямо на траве вокруг бутылок и закусок. Кое-где на траве дымились и самовары. Вокруг медного пузатого самовара расположилась семья Ивана Ивановича — жена его Полина Карповна и старшая сестра Кати Марфа с женихом — да прочий народ. Пилось в лад, а пелось вразнобой. То начинали: «Как на Домне сарафан чисто пуговишной. Сюды-туды сарафан, пригождаться везде стан». То затягивали: «Родимая матушка, не женат хожу, ой люли-люли-люли, не женат хожу...»

— Папаня, спой-ка про кузнеца, — попросила Катя.

— Ах ты, любимица моя, беляночка, — отвечает выпивший Иван Иванович, — погоди, кровушка моя, разодену тебя, как барыню, как дочь купеческую, ибо имею замысел свою лавку в городе открыть. Свой железный товар сам продавать буду, а то и повезу куда подалее... На Колыму повезу... У меня там в селе Корытове свойственник живет. У приморских чукч меха меняет. Там в крепости Анюйской, на Анюйской ярмарке, тысячи загрести можно, миллионщиком стать... Вот вам, голубчики, и кузнец-молодец, — и запел: — «Идет кузнец из кузницы, шубенка на нем худенькая. Одна пола во сто рублей, другая во тысячу. А всей-то шубенке цены нет. Цена ей у царя в казне, в золотом ларце...» Поедешь со мной на Анюйскую ярмарку, женишок? — повернулся Иван Иванович к Егору.

— Что ж не поехать? — радостно откликнулся Егор. — Я, Иван Иванович, куда угодно согласен.

— Это как же без отцовского разрешения куда угодно! — не выдержал Лазарь Иванович. Думал он промолчать, чтоб хитростью сына-работника назад к своему хозяйству повернуть, к своему хутору, да не выдержал, обнаружил свое отцовское возмущение. — Кому ж ты сын? Кто тебя вскормил-вспоил? Ах, щенок, — и прилюдно сына Егора по шее, по шее.

Как при ярмарке гулянье начинается, драки не редкость, то в одном конце разбирают, то в другом. Разборо-

нили и здесь отца с сыном. А поскольку Лазарь Иванович от обиды все порывался буйствовать, то его связали и отнесли в сторону, под куст, что тоже не редкость. И в иных местах под кустами уж несколько буйных связанными лежали, пока успокоятся. Связали Лазаря Ивановича и далее веселиться продолжили. Выводил Иван Иванович под гармонику жениха Марфы Трифона: «Идет кузнец из кузницы, несет кузнец три молота...» А Катя и Марфа в два голоса подхватывали: «Кузнец, кузнец, ты скуй мне венец. Ты скуй мне венец из золота. Из остаточков — золотой перстень, из обрезочков — булабочку. Мне в том венце венчаться, мне тем перстнем обручаться, мне тою булабочкою убуруз протыкать...»

Марфину свадьбу играли на Рождество. Снегу навалило много, и мороз быт крепок, скрипело все, визжало под полозьями, трещали деревья. Воздух был серебристый, и казалось, словно и воздух от дыхания поскрипывает. Катались на санях вокруг розовых, слепящих глаза ледяных гор, катались по улицам. Собирались двадцать-тридцать саней и так толпой неслись со смехом и звоном из села в село. Когда становилось слишком зябко, пили на морозе горячий сбитень из меда с корицей. Сбитенщики кутали медные свои баклаги в полотно, чтоб дольше не остывало, кричали весело: «Вот сбитень! Вот горячий! Кто сбитня моего? Все кушают его. И воин и подьячий, лакей и скороход и весь честной народ. Честные господа, пожалуйста сюда!»

Свадьбу старшей дочери Иван Иванович справил шумно и богато. Когда ехали от жениха с иконой Божьей Матери, которой полагалось благословлять невесту, Егор правил лошадью. На полпути деревенские бабы, по обычаю, перевалили дорогу бревном, и жених дал народу выкуп — сто рублей. Когда подъехали к дому Ивана Ивановича, дружка жениха Родион, сын мельника с хищно-веселыми ястребиными глазами заправского бабника и балагура, застучал в окно:

— Свахоньки, сватушки, отоприте-ка, отворите-ка, женишка заморозили. Вышли Иван Иванович с женой Полиной Карповной. Несмотря на мороз, Иван Иванович вышел без армяка, в новой пиджачной паре, на животе у него по-купечески болталась тяжелая, червонного, золотая цепь от часов. Вышел и крестный с крестной, сельский староста Митрофан Тихонович с женой. У Ивана Ивановича для благословения жениха была икона Спасителя, а у крестного — икона Николая Чудотворца. Заметив в толпе гостей отца, Егор забеспокоился: «Как бы не набедокурил, по своему обычаю». Однако отец Лазарь Иванович был слезливо-весел, обнял Егора:

— С праздничком, сынок... Бог-то, Бог как помогает... Ты у меня красавец, тебе счастье иное, чем отцу да твоим несчастным братьям и сестре твоей Варваре.

Лазарь Иванович уж не раз заводил разговор о сестре и братьях, которые остались в бедности в «бабьей стороне», и Егор не раз предлагал послать им деньги электрическим телеграфом. Но отец возражал:

— Знаю я это электричество. Пропадут деньги. Если домой вернуться не хочешь, хоть бы навестил. Идти нам надобно в «бабью сторону». Иван Иванович — человек добрый, поймет родительские скорби...

Так говорил уже не раз. И вот на свадьбе, в разгар радости, опять намекнул. Решил действовать не скандалами и крикливыми разговорами, а намеками, капля за каплей. Вот и сейчас, намекнув, тотчас хитро на иное перешел:

— Гляди, Марфушку, невесту, под передний угол сажают. И младшая сестреночка, Катенька, ангелоподобная.

Катя, и верно, была сегодня особенно красива, Егор глаз от нее не отводил. Глядел, как Катя, обойдя вокруг стола, надела, по обычаю, на Марфу клееную шапку из цветной бумаги, голубой и розовой. Затем, с иными девушками взяв сестру за руки и плечи, вывела из-за стола. Когда Марфу выводили, она тащила за собой салфетку.

Если вся салфетка стащится, то сестра скоро выйдет замуж. Егор и Катя с разных концов глядели, как салфетка тащится, — вот зацепится, вот порвется. Но стащилась вся целиком. И тотчас же подбежала радостно Катя с подружками, принялись накальвать на подол сестриного венчального платья крестики. Поверх венчального платья надели на Марфу шубу теплую, шалью укутали, и повел ее отец на улицу к саням. А Марфа причитала и всхлипывала притворно:

— Раздушенька, милый мой батюшка! Не бери-тко ты за праву рученьку, не выводи ты меня на улицу! Не сажайте на вороных коней! Завезут-то меня вороны кони, завезут во чужи люди!

Смеркалось, мелькали огни в метельной мгле. И пока выносили из дому невесты сундуки с приданым да ставили на сани, Катя протиснулась сквозь веселую толпу к Егору и, взяв его за руку, шепнула:

— Ну, слава богу... И у нас так будет, Егорушка... И у нас не хуже будет...

Егор с ее слов уже знал, какое приданое за ней дадут, Катя с восторгом перечисляла:

— Два пальта, осеннее и летнее, городского покрою, да жакеты, да подушки перьяные, да матрацы, набитые соломой. А в сундуках рубашек три-четыре полотняные, башмаки простые и шагреновые, да простые кожаные сапоги для работы, да валенки. А платьев-то сколько, Егорушка, бумажные из ситца, розовые, красные, бордовые. И еще кубовое, на случай как до старости доживу, чтоб в старости носить. А денег пять тысяч серебром обещал папаня.

«Откуда мне счастье такое, — думал Егор, глядя на свою богатую, красивую невесту, — за что мне счастье-то? Чем я Богу угодил, не пойму».

После венчания обильно ели и пили. Иван Иванович, пытаясь сохранить торжественное выражение лица при распивавших его чувствах, говорил:

— Кто на земле вступает в супружеский союз, значит, так было заранее предназначено в небесной книге. И существуют они отныне подобно небесной паре...

Расходились уж в зимней утренней тьме. Егор на правах жениха хотел проводить Катю из Трифонова дома, где была свадьба. Но вместо того должен был вести своего, по обыкновению, перепившего отца. Шли молча, лишь скрипели валенками по снегу, словно так переговаривались. Тяжелый, пьяный Лазарь Иванович все время теснил Егора то к забору, то к середине дороги. Уже перед самым флигельком, рядом с кузницей, где они жили, Лазарь Иванович, видно думавший о чем-то всю дорогу, сказал:

— Не будет им жизни... Примета такая есть. Во время венчания жених и невеста должны кланяться вместе, а они кланялись вразнобой.

Егор, замученный свадебной суетой и своим счастьем, заснул сразу же, не раздевшись, лишь скинув полушубок, потому вскочил и выбежал первым, почувствовав жар и дымное удушье. Горела кузница, огонь уж подбирался к флигельку. Лазарь Иванович спал, как и лег, на спине, дико, с клекотом, по-пьяному храпя. Как ни теребил, ни дергал его Егор, Лазарь Иванович отвечал лишь новыми порциями дикого храпа. Пришлось Егору волочить спящего грузного отца из флигеля. Лишь на согреваемом жаром морозе при звуках набата Лазарь Иванович открыл глаза, поглядел на темно-вишневые обгоревшие стропила, на огонь, с жадным треском пожирающий сухие бревенчатые стены, и пробормотал:

— Я ж говорил, при венчании вразнобой кланялись...

Несмотря на то что загорелось после свадьбы, когда все вповалку спали, погасили быстро, и убыток оказался не так уж велик.

— Кузницу все равно каменную ставить надо, а флигель я и без того собирался снести, — говорил Иван Иванович, — главное, кузнечный инструмент цел остался.

— Вот тебе и причина домой идти, — не скрывал радости Лазарь Иванович, — я по дому стосковался да по детям моим, сестре и братьям твоим, Егор. А в кузнечном деле, я так понимаю, у Ивана Ивановича перерыв.

— Найдется временно и другая работа, — отвечал Егор, — кирпич да тес возить... Люди здесь богато живут, куда ж опять в бедность, в «бабью сторону»? Там деревни пустеют, все на фабрики бегут или в отход, а мы туда...

— Может, там и бедней, — говорит Лазарь Иванович — да наш-то край, отчина. — А зажиточно жить и там можно, были б деньги. Мы ж заработали тут ничего, ты да я. Хутор купить можно дешево.

— Дешево, да без толку, — говорит Егор, — что за земля там, болота да бесплодный песок.

— И на песке хозяйствовать можно. Огородничать, капусту развести. И хмель хорошо растет. Что ж ты, сынок, все время здесь в услужении ошиваться хочешь? И девки у нас не хуже здешних.

— Нет, отец, я на Кате женюсь, люблю ее. А землю держать не хочу. Мне кузнечно-слесарное дело по душе.

— И не боишься, сынок, что Бог-то тебя накажет? Ты себе счастливую жизнь хочешь строить, а как же братья твои меньшие, как же сестра Варвара, которая из сил, видать, уж выбилась на поденной работе? По чужим дворам то полосы подпарит, то покосы расчистит... Ты на ярмарке в увеселительный балаган пошел, семьдесят копеек заплатил, а на те семьдесят копеек сколько сестра твоя должна спину гнуть? У нее и двух копеек лишних не имеется, чтоб братьев твоих на карусели прокатить.

И пронял этим Лазарь Иванович Егора, тем более в кузнечном деле действительно был перерыв, пока погоревшую кузницу переоборудовали.

— Мы можем сестру да братьев сюда взять, — говорит Егор.

— Может, и так, — отвечает отец, думая про себя: «Главное, чтоб домой вернулся, а там уж придумаем, как быть».

Иван Иванович простился с Егором как с сыном родным, а то, что идет он помочь сестре и братьям, одобрил:

— Божье это дело. Возлюби ближнего, как самого себя.

И в дополнение к заработанным деньгам еще и наградные дал. А как с Катей Егор прощался, не опишешь. Все не могли расстаться. Расстанутся, поцелуются и опять возвращаются в объятия друг к дружке. Так по многу раз.

— Я не навсегда, Катя, я только за сестрой да братьями схожу, которые там в бедности пропадают.

— Ах, Егор, не надобно тебе от меня идти, — все повторяет Катя и плачет.

Проводила она Егора на станцию, обнялись в последний раз, и лишь здесь полностью осознал Егор ужас расставания. Померкло у него в глазах, и когда оторвал его отец Лазарь Иванович от Кати, так как поезд уже шипел да двинулся и паровоз засвистал, то смотрел он во тьму, хоть вокруг был солнечный день. Так и ехал с чернотой в глазах, оглушенный. Когда уж через несколько дней плыли на пароме по озеру, два слепца, видно брат и сестра, похожие лицом, пели ладно, душевно:

Грустно сердечку, нудно бедному,
Ах, знобит его да невзгодушка.
Куда ни брошусь я, куда ни взгляну я,
Ах, везде тоска неусыпчая.

И Егор дал им по рублю. Лазарю Ивановичу это шибко не понравилось.

— Ты что ж деньгами-то швыряешься? Сестра твоя, Варвара, за два рубля-то как надрывается. А эти паразиты, может, и не слепые, еще проверить надобно.

— Я, отец, свои деньги дал.

— Свои? Я тебя еще пока не выделил, ты пока еще у отца в подчинении. В Писании сказано, все сыновье — отцово.

Уж не раз уговаривал, упрашивал Лазарь Иванович сына заработанные деньги вместе сложить, как прежде делали, когда все, что ни заработает, Егор отцу отдавал. Однако сейчас свои деньги Егор отдавать отцу отказался, тем более отец в дороге пил да пару раз крепко напивался. Не сумев уговорить, начал отец стыдить да угрожать, и Егор не выдержал, обругал отца в ответ.

— Бес ты, отцеругатель, — говорит Лазарь Иванович, — ну, погоди, бес... Ох, святые угодники, что на белом свете делается.

Такие стычки меж ними бывали чаще и чаще, чем ближе к дому своему, к «бабьей стороне» приближались. А местность меж тем становилась все более знакомая, малонаселенная, угрюмая. Тот берег озера, откуда ехали на пароме, был обрамлен узкими кряжами, а за озером местность понизилась, превратилась в песчаную, бесплодную болотистую впадину, поросшую лесом и кустарником.

— Одно хорошо, — говорит Егор, — где болото, там и болотистая железная руда.

И верно, сквозь болотистые растения то там, то здесь видны были небольшие, но многочисленные гнезда рыжевато-ржавой железной руды.

— Прямо навверху, — говорит Егор, — только бери ее да перерабатывай на гвозди, косы, сошники, лопаты. Может, и верно, сюда Катю привезти, жениться да здесь кузницу открыть?

— Мал ты еще хозяином делаться, — отвечает сердито Лазарь Иванович, — ты еще у отца в подчинении. Я с тебя по закону деньги стрбовать могу на покупку семейного хутора.

— Не дам я тебе денег, — отвечает Егор, — ты и свои деньги пропиваешь, а я свои на кузницу коплю.

Шли вечером мимо старых, брошенных солеварен, среди многочисленных канав, и вдруг Лазарь Иванович столкнул сына в одну из канав да начал его душить, густо дыша

в лицо луком и водкой. Однако не дался Егор, вывернулся и в свою очередь начал отца душить, но не до смерти, а чтоб усмирить. Как захрипел отец, дернулся, разбросал в бессилии руки, Егор его отпустил.

— Отныне знай свое место, — сказал Егор, глядя на жалко скорчившегося, бледного отца, который руками растирал шею свою и хватал по-рыбьи округлым ртом воздух, — теперь ты мне не отец, ты змей адовый.

А когда для пущей убедительности Егор отца два раза по шее да раз по зубам, то Лазарь Иванович принял уже это истинно по-христиански, только отозвался: «Ох... ух...» — и заплакал.

С этого момента, взяв верх над отцом и унизив его, Егор окончательно возмужал. Отец еще был крепок, но уж не первой молодости, и силы его пожирало пьянство. А Егор в самый расцвет сил молодых входил и, почувствовав над отцом своим власть, ощутил и вкус к хозяйскому положению. В «бабьей стороне» цены были низкими, и деньги, принесенные Егором, составили целый капитал. Да еще и у отца отнял, все равно пропьет. Лесу вокруг много, сбыту не было, сплавом и возкой его в дальние губернии сбывали дешево, а если здесь купить, да еще на корню, то и вовсе даром. Поставил Егор новую избу, купил разорившуюся кузницу. Землю держать не хотел, но чтоб купить дешево пашню, обратить ее в луг или сенокос да в аренду сдавать — об этом подумывал. И женился вскоре Егор, взял маленького роста, покорную и работающую, черноволосую и голубоглазую Марию, дочь Юшки-сапожника из соседнего села. Юшка-сапожник по здешним меркам не беден был, имел корову да лошадь, и свадьбу сыграли хорошую. Конечно, не так богато-разорительно, как в селе Крутец...

О селе Крутец, а главным образом о Кате, Егор поначалу крепко тосковал. Был даже момент, хотел назад ехать свататься. Но сомнения имелись, отдаст ли Иван Иванович дочь в чужой край. Самому же переезжать расхоте-

лось. Здесь он хозяин, а там, как ни крути, в услужении. Так думал, рассуждал, а время шло, и посватался Егор к местной. Купил для сватанья гостинцев — подсолнухи, орехи, мятные пряники. Присмиривший отец Лазарь Иванович, который во всем уж подчинился сыну, да сестра Варвара, да младшие братья поехали в соседнее село к Юшке-сапожнику. У Юшки долго пили чай.

— Живем хорошо, лучше не надо, — угодливо говорил Лазарь Иванович, — сын у меня хозяин, скоро первый в уезде будет...

Отслужили молебен, жених да невеста каждый в своем приходе. Молились святому Гурию, покровителю семейного очага. Потом съехались да пошли гулять по деревне с песнями.

По последнему денечку
Я сидела молодешенька.
Я во светлой своей светлице,
Уж я шила волю золотом,
Обшивала чистым серебром.

Тут и обед поспел — щи, каша и яичница. Яичницу подали после всего, как лакомое блюдо перед самым венчанием. Венчались в бедной здешней церкви без колокольни под кузнечный звон Шостака Федорова, который колотил в билу. Было это летом 1914 года, а пожилы при мирном времени недолго. Вскоре тот же Шостак Федоров ударами в билу возвестил мобилизацию мужиков и перелом в истории Европы, России, народа и духа народного.

1

«История, — говорит историк Фюстель де Каланж, — есть наука о росте (devenir). Она не столько занимается фактами как таковыми, сколько образованием и изменением фактов. Это наука о происхождениях, сцеплениях, развитиях,

превращениях». А исторические факты так сцепились, развились, превратились: в последний год германской поспел Егор во флотские механики, потом на Гражданской «братишкой» скандалил, «яблочко» пел. Но стрелял недолго, а более оружие ремонтировал, для того и направлен был как квалифицированный механик. И если в целом говорить, то вместе с миллионами иных отстоял советскую власть. Цель была едина, но каждый единоличник понимал ее по-своему, и потому, когда цель была достигнута, началось так много колебаний. «Товарищ, товарищ, за что же мы сражались, за что ж мы проливали нашу кровь...» Лишь когда Ленин велел НЭП организовать, как будто начал понимать за что. И, поняв, решил Егор Лазаревич приступить к изготовлению в своей кузнице дефицитной к тому времени швейной иглы. Прикинул, что на иглах заработать можно хорошо. Жена Егора Лазаревича Мария была портнихой, шила для сельского народа, но как объявили НЭП, то оказалось, что гораздо доходней строчка белья — вышивка гладью. Доходнее работать на городских хозяев — торговцев, к тому же снабжавших материалом. Строчка эта и прочее женское рукоделие продавалось хозяевами-торговцами по всей России. Однако игл не было — две-три старые, довоенные.

— С такими иглами, — говорит Мария, — за зиму на рукава без сарафана заработать можно.

До революции иглы изготовлялись в уезде на фабрике машинным способом, и Егор Лазаревич после демобилизации с флота работал некоторое время на этой фабрике, поскольку в силу общего разорения кузнечное дело пришло в упадок. Но затем и фабрику прикрыли из-за нехватки игольной проволоки. В тяжелые, опасные времена при двух малолетних детях, старшей Дусе и младшем Федоре, жили главным образом на портняжный заработок Марии. Однако при НЭПе стало возможно заработать путем продажи изделия через городской кустарный склад. Мария нанялась на тот склад к торговцу Леонтьеву строчницей-на-

домницей. И Егору Лазаревичу тоже работу предложили — выработку металлических наконечников для пожарных рукавов, которые также шли на продажу через кустарный склад. Но как-то нашел Егор Лазаревич в кузнице своей моток проволоки, стальной, подходящего диаметра и качества, залежавшийся с давних времен, и, поскольку старые швейные иглы для работы Марии затачивать было бесполезно, уж больно они были сточены, попробовал Егор Лазаревич из той проволоки изготовить несколько игл ручным способом. Умелый был кузнец Егор Лазаревич, дело свое знал и любил, но игольно-булавочное производство в простой кузнице сельской наладить — тут уж одним умением не обойтись, и инструмент нужен соответствующий, и оборудование. На фабричной машине проволока режется равными кусками. В час сто тысяч таких кусков машина режет, и каждый кусок равен двум иглам. А Егору Лазаревичу, чтоб с десятков кусков изготовить, пришлось долго потрудиться да понервничать, ибо после контузии, а может, и в силу природных наследственных причин и прочих обстоятельств стал он в чем-то характером похож на отца своего Лазаря Ивановича. Только что не пил запойно, хоть изредка самогонкой себя баловал к обеду. Младшие братья Егора Лазаревича к тому времени поумирали от тифа, сестра Варвара вышла замуж и уехала с продотрядчиком далеко, в Петроград, а отец Лазарь Иванович нищенствовал, ходил по деревням с сумой. К дому своему Егор Лазаревич отца не допускал, и Мария, как Лазарь Иванович появлялся, бежала огородами, несла еду, а иной раз и денег немного. Жалела его тайком: если б Егор Лазаревич увидел, то очень бы сердился. На Егора Лазаревича жаловалась не раз Мария отцу своему, Юшке-сапожнику.

- Скандалит? — спрашивал Юшка.
- Скандалит.
- Оскорбляет?
- Ну, оскорбляет, это уж ладно.

- Бьет?
- Ох, бьет...
- Авось Бог уймет его... Терпи да молись.

Так Мария и делала. Одна была радость у нее — молитва да чтение церковных книг. Особенно любила читать про святых женщин-мучениц: Юлия-мученица, Алевтина-мученица, Лукия-мученица, Серафима-мученица... Церковь в деревне, сгоревшую во время гражданских смут, отстроили заново, даже лучшую, правда без колокольни, но со звонницей, и Егор Лазаревич на церковь дал. Однако когда поп пришел под ворота для дополнительного сбора с зажиточных, то Егор Лазаревич попа обругал, ибо считал себя не зажиточным, а трудовым середняком. Летел поп от ворот, подобрав рясу. И когда попа ЧК арестовала за какое-то дело, а церковь закрыли, то подумал: «Так ему и надо, курварю, а молиться и дома можно. Бог и дома услышит, если захочет».

Молился Егор Лазаревич теперь чаще всего от тоски. «Зря я тогда Катю оставил, — думал он, — зря из села Крутец от Ивана Ивановича ушел. Отец всему виной, он меня подбил. Он кузницу Ивана Ивановича поджег. Я тогда не понял, а теперь мне ясно. Чтоб заработок мой прибавить на хутор свой. Пусть ходит теперь с нищенской сумой... Видеть его не хочу...»

Все ж видел как-то раз вблизи исподтишка из-за забора. Лазарь Иванович стоял на паперти заколоченной церкви. Уж подмораживало, а был он босой, и портки были закатаны до колен, обнажая ноги, очень толстые, похоже опухшие, с грязными трещинами на широких пятках. Грудь была обнажена, и на ней большой крест виднелся из-под длинной, до пояса бороды. Волосы, также длинные, свисали космами на плечи. В руке отец держал плетеную веревочную корзину с какими-то напоминающими грибы кореньями, хоть был уже не грибной сезон. Филька-комсомолец, о чем-то болтавший с Лешкой-красноармейцем у коновязи против церкви, весело крикнул Лазарю Ивановичу:

— Эй, ты, спаситель! Ты, босой Христос! — и так ловко бросил огрызок яблока, что попал отцу прямо в лицо.

Отец перекрестился и пошел прочь, втянув голову в плечи, и, когда отец шел так, что-то шевельнулось в душе у Егора Лазаревича. «Все ж отец, — подумал, — жалко, какой ни есть... Может, пригреть? Сказано ведь в Писании: будь милосерд, прости врагу, возлюби ближнего... Как придет еще раз, велеть Марии, чтоб привела в дом...» Однако отец более не появился. Так с тех пор исчез навсегда, испарился. И нет могилы, куда на Пасху можно было прийти для почитания, как ходил Егор Лазаревич на могилы своей матери, сестер и братьев. Впрочем, времени на воспоминания у Егора Лазаревича не было, поскольку занялся он в своей кузнице доходным игольно-булавочным производством. Сперва сделал ручным способом с десяток игл Марии, для ее строчной работы. Иглы получились отменные, не хуже фабричных, а то и лучше даже, так как на фабрике лишь дорогие сорта из стальной проволоки делали, для более дешевых употреблялась железная проволока. Владелец кустарного склада Леонтьев взялся поставить Егору Лазаревичу стальную проволоку, да иглы такой ныне дефицитный товар, что не выгодней ли самому продажу наладить, вот только бы проволоку достать стальную. Железную проволоку достать можно, но на фабрике железную эту проволоку цементацией осталивали, а как осталить проволоку в сельской кузнице? От всех этих мыслей еще более нервен и сердит стал Егор Лазаревич. Работал он с рассвета до поздна и малолетних детей своих, Дусю и Федора, заставлял работать — меха тянуть, древесный уголь разжигать. А если лень заметит или нерадивость, скор был на наказание. Раз Дусю, дочь свою, в кузнице даже вешал. Поставил табурет, велел ей на табурет подняться и цепью вокруг шеи обвязал. Лишь когда заметил, что крепко напугал ее и младшего, Федора, отпустил с назиданием, как надобно трудиться и в поте лица хлеб зарабатывать.

Трудился Егор Лазаревич много, сам изготовил приспособление, чтоб катанием проволоку выпрямлять, а затем очищать от окалины. Сделал он и точило, наждачный круг, на котором пучки игл затачиваются. Все это сделал Егор Лазаревич, но долго повозиться пришлось с игольными ушками. Шлифовка на шлифовальном круге должна быть нежной, чтоб отшлифовать середину проволочки, то место, где пробивается ушко на маленьком штампике.

Когда дело ладилось, отец был добр, даже ласков, и Федор любил смотреть, как он работает, любил ему в работе помогать. Любил Федор смотреть на большие, тяжелые руки отца, ловко управляющиеся с мелким инструментом. Нанизывал Федор иголки на проволоку и клал на деревяшку, а отец штампиком пробивал ушко. Дусе такую работу отец не доверял, Дуся или меха тянула, или уголь разжигала. Отец уж и советовался с Федором, несмотря на его малолетство, как поступить в том или ином случае. Что делать, например: заусеницы образуются при пробивке на штампике, и заусеницы эти рвут нитку. Ночь Егор Лазаревич не спал, но придумал нанизывать иглы на шероховатую проволоку и в таком виде тряс их вместе с Федором, чтоб при качании на проволоке заусеницы уничтожались. Когда же иглы полировали, тут уж трудились всей семьей — и Федор, и Дуся, и мать их Мария. Иглы укладывали на холст, пересыпали песком, смачивали сурепным маслом, скатывали в свертки, перевязывали бечевками, клали на деревянную плиту, нагружали сверху другой плитой и все вместе начинали верхнюю плиту двигать взад-вперед. Работа простая, но утомительная. По четыре-пять часов полировали с небольшими перерывами. А потом еще помещали во вращающийся барабан с опилками и вращали рукоять, сменяя друг друга, до онемения руки и плеча. Промывали иглы в банках с водой, чтоб смыть опилки, и опять в свертки с песком, опять раскатывать доской. Кажется, конца этому не будет, в глазах темнеет, а присесть отдохнуть страш-

но. Чуть что — отец ремень снимет, пряжкой потрясет и опять за работу. Каторга домашняя, да и только. По пять-шесть раз повторяли, только в последний раз при упаковке вместо песка употребляли сухие отруби. Сортировка уже полегче. Высыпали иглы на чистый стол и всей семьей сортировали их по длине, складывали в бумажные свертки, в которых они и шли на продажу. Тяжелый труд — ручное изготовление игл, но доходный. Егор Лазаревич подумывал уже и к изготовлению игл для швейных машин приступить, хоть здесь, конечно, без городского кустарного склада Леонтьева не обойтись. Предлагал Леонтьев Егору Лазаревичу наладить и производство мелких булавок, для чего обещал обеспечить латунной проволокой. Однако неожиданно-негаданно Леонтьева арестовали, а городской кустарный склад опечатали. Все, что будто наладилось, опять разладилось. По деревням появились свои и пришлые агитаторы, которые агитировали за колхозную артель и против единоличного труда. Филька-комсомолец зашел как-то к Егору Лазаревичу в кузницу, оглядел в чистоте и порядке расставленный инструмент, сложенный в кули готовый товар.

— Богато живешь, — говорит, — по-кулацки живешь... Погоди, погоди, я тебя на нуль поставлю, — и посмотрел оловянным глазом.

Цифирную грамоту Филька-комсомолец знал, ибо некоторое время слесарил на лесопилке, и потому выразился с толком, а артельному бухгалтеру Карлу Карловичу Шмидту, бывшему служащему уездного банка, велел:

— Ты, Карлыч, кузницу Тонкого заприходиуй, мы ее, дай срок, приберем для артельных нужд...

Лето было жарким, расплодилось много гнуса, и от болот пахло смрадом, как от костяной свалки на дворе у Юшки-сапожника, отца Марии, оставившего сапожное ремесло и занявшегося доходным кожевенным делом. Он и Егора Лазаревича в компаньоны звал, но Егор Лазаревич отказался. «Может, и правда кожевенное дело доходней кузнечного, —

думал Егор Лазаревич, — но не по душе оно мне. Раскаленное железо чистый запах имеет, а кожевенное дело смрадное». И верно, как начинал Юшка-сапожник с сыновьями на колодах-кобылинах пороть рогов, вырезание ушей и хвостов, удаление оставшихся на коже кусков мяса и плевы, чтоб приступить к промывке и замочке, смрад стоял — не продохнешь. И собственная кожа у Юшки на руках была сморщенная от дубовой и ивовой коры, растворенной в соли. Но Юшка-сапожник, подобно Егору Лазаревичу, тоже на труды внимания не обращал, к доходу стремился. А жаркому лету и болотной гнили даже был рад.

— Гнус, — говорил, — для нашего кожевенного дела полезное насекомое, поскольку от укуса насекомого дубильные растения лучшие свойства приобретают и дубло лучше в чане голье растворяет. Кожи сырые лучше пропитывает.

Кожи Юшка дубил отменные и крепкие — сырмятные, и хромовым дублением дорогие кожи светло-зеленого цвета — гибкие, мягкие на ощупь. Лучших кож, чем у Юшки, в уезде не найти. А Егору Лазаревну он еще родственному дешевле отдавал.

Раз в воскресенье поехали к Юшке за кожами всей семьей, чтоб заодно уж и навестить. Надолго запомнил Федор эту поездку, потому что здесь, в степи, среди желтого ржаного поля, отец Егор Лазаревич, как никогда прежде, сильно избил мать. Избил за иглу, которую без спроса мать одолжила соседке, о чем Дуся проговорила. Зашелся в злобе Егор Лазаревич, голова у него пошла кругом. Небо в тот день было горячим, воскресный покой нарушался лишь птицами, вокруг поле, а за полем заросли клюквы. И оттого что не знал Федор, как помочь матери, как спасти ее от слепого отцовского лица, соскочил с повозки и побежал прятаться в клюкву, в низкий кустарник с ползучими ветвями. Прижавшись к земле, к кожистым листьям, к поникшим пурпурным цветам, к кроваво-сочным ягодам, Федор старался не дышать и не слышать, но все-таки дышал и слышал, как

надрывно плачет Дуся и как рычит отец. Сколько Федор так лежал — не помнит. Нашла его Дуся, сказала:

— Пойдем, Федя... Уже все...

Отец сидел неподвижно и тихо, держа в руках вожжи, лошадь мирно пощипывала траву, мать полулежала с почерневшим лицом, и голубые глаза ее были туповато-безжизненны. Так смотрела она и тогда, когда читала Федору и Дусе из церковных книг: «Бог отеческий, уберегая угодицу свою, святую Юлию, преклонил на милость к ней жесткое сердце неверного человека». Дуся слушала эти чтения серьезно, с тем выражением, с каким мать читала, а Федору почему-то было смешно. Как-то он даже рассмеялся, когда мать прочла ему о злом кесаре, велевшем в наказание вложить святой мученице в рот раскаленную серебряную ложечку с медом. И мать, любившая Федора, от такого его безбожия прослезилась:

— Как ты будешь жить без Бога-то, сынок... Пропадешь без Бога...

Так и теперь мать, увидав Федора, которого среди зарослей клюквы нашла Дуся, заплакала, но более ничего не сказала.

За кожами уж не поехали, повернули назад, и перед своим селом отец велел матери натянуть платок на лицо, чтоб скрыть черноту от побоев. С того дня надломилось. Пошло все хуже, все тяжелее, и Егор Лазаревич даже подумывал, не податься ли опять в отхожий промысел, теперь уж через государственную вербовку. К тому времени кожевенное дело у Юшки-сапожника конфисковали, опять сел за сапожную колодку. Да и куда ему деваться с таким ремеслом. А с кузнечно-слесарным ремеслом нигде не пропадешь, оно и на сибирских стройках дефицитно. Однако поразмыслил, попитался слухами о том, как народ в сибирских сырых землянках мрет, и решил дома остаться. Кузницу сам отдал в колхоз и одним из первых записался. Иные бунтовали, но Егора Лазаревича Бог природной

сообразительностью не обделил, сразу понял — против ветра не плюнешь... А работать будем по оплате и доходу. Как говорится, что поел, тем и отрыгнул... Так рассуждал, отдавая в колхоз свое добро, любимым, но тяжелым трудом накопленное, а чего ему это стоило, домашние чувствовали, особенно жена Егора Лазаревича Мария. Бил жестоко: за волосы схватит, повалит и ногами бьет, терпеть уж духу не было, как терпели святые мученицы христианские, и Мария в ответ на побои кричала и проклинала мужа не похристиански, отчего мучилась потом сильнее, чем от боли. Однако кара на Егора Лазаревича пришла не от Бога, а от подросших детей его, Дуси и Федора. Как-то начал Егор Лазаревич в очередной раз жену бить, да не успел разгорячиться. Дуся схватила лопату, а Федор обломок доски, и вдвоем они настолько сильно избили отца, что на следующий день он не мог подняться с постели... Три дня болел Егор Лазаревич и с тех пор жену бить перестал. Скандалил, оскорблял, а бить не бил. Так Дуся написала Федору, который вскоре уехал учиться в лесотехнический техникум, единственный в райцентре. Из техникума попал Федор в армию. А потом... Потом исторические факты так разрослись, сцепились, превратились, что когда однажды ночью, словно опомнившись, Федор сел в постели да глянул на себя в тускло отсвечивающее зеркало, был он уже с седеющей шевелюрой, а одутловатым лицом своим скорей не отца Егора Лазаревича, а деда Лазаря Ивановича напоминал.

2

«Легко проповедовать мораль, но трудно обосновать ее», — говорит Шопенгауэр. Разве что мысли о смерти, точнее, о невозможности, будучи живым, представить себя мертвым, позволяют ощутить таинство морали, таинство простых заповедей. Когда на душе тоскливо или радостно,

то смерть понятна, но когда испытываешь этакую прочность, спокойствие, смотришь на себя в зеркало, ничего как будто не волнует, все как будто устроено, ничего как будто не болит, тогда думаешь: неужели я умру? И это странно. А от этой конечной странности и вся жизнь, точнее, те связи исторических фактов, их взрастание и сцепление, из которых складывается человеческая жизнь, кажется странной, и возникает сомнение: неужели это было так, неужели это сосуществовало в одной жизни, вытекало одно из другого?

Федор Егорович Тонкий был известным в стране артистом-комиком, популярнейшим, любимым артистом театра, кино, телевидения и даже цирка. Собственно, начинал он цирковым клоуном, а уж потом пришла его известность в театре и кино. Склонность к юмору, желание при случае посмеяться и отличали Федора от иных членов семьи, в которой все были серьезны и все было серьезным. Серьезно работали, серьезно ели и пили, серьезно скандалили и дрались. Федору не раз доставалось ложкой по лбу от отца — Егора Лазаревича, когда за обедом вдруг заговорит погромче или засмеется. И мать его Мария исполнялась ужасом и печалью, когда Федор смеялся над ее церковным чтением о христианских великомученицах. И комплекцией своей, обликом своим Федор от иных членов семьи отличался. Несмотря на фамилию, были все Тонкие увесисты, мясисты, ширококостны. Дуся, сестра Федора, пошла в отцовскую породу, а Федор, особенно в молодые годы, был верток, гибок, худ — в мать. Но с годами начало проступать в облике и отцовское. Деда своего, Лазаря Ивановича, Федор помнил плохо. Как-то видел идущего с нищенской сумой и испугался, убежал в дом. Однако, проснувшись ночью, глянув в зеркало на свое одутловатое лицо, вспомнил и испугался. Даже не по себе стало от этого воскресения деда Лазаря. В Бога Федор Егорович никогда не верил, даже так, как верит большинство, — от скуки жизни и страха смерти. Скуки он не испытывал из-за легкого, веселого характера своего,

а на войну пошел совсем молодым, почти мальчишкой, и даже удивлялся, как это тридцатилетние-сорокалетние дядьки пугаются смерти, дрожат, а иной раз и плачут от страха.

В армии Федор принимал участие в художественной самодеятельности, сам сочинял шутки и исполнял их. В День Победы в разрушенном Берлине перед маршалом Жуковым на праздничном концерте выступал. Партнером у него был артист новосибирского цирка Максим Зипун, настоящая фамилия — Натерзон. Натерзон командовал взводом «соток», стомиллиметровых зенитных орудий, и весьма отличился под Курском, когда армейская бронейная артиллерия не могла взять броню новых немецких «тигров» и пришлось ставить на прямую наводку стомиллиметровые зенитки. После боя поздравлял с успехом и объявлял, кому какие награды, начальник политотдела армии, бритоголовый, в молотовском пенсне и с седыми ворошиловскими усиками.

— Как фамилия, лейтенант?

— Натерзон.

— Молодец... Вот, начштаба, — обратился он к поджарому, вороной, цыганской масти полковнику Ваксютенко, — что бы там ни говорили, а все-таки славные у нас евреи.

— Так точно, товарищ генерал... Бывает...

— Как это бывает?.. Славные...

— Так точно, товарищ генерал.

Был этот начальник политотдела из старых агитаторов-политпросветителей, из коминтерновцев и во время переформировки читал политические лекции, отвечая на вопросы. Как-то сержант Микола Горобец, внешним обликом и повадками напоминавший Федору отца, спросил:

— Товарищ генерал, а какая примерно зарплата у Гитлера?

Начштаба Ваксютенко так глянул на Горобца, словно трассирующей очередью прожег.

— В данный момент я на этот ваш вопрос ответить не могу, — сказал начальник политотдела, однако на следующей лекции сам напомнил: — Тут меня спрашивали насчет зарплаты Гитлера, Гитлер, как канцлер, получает в месяц сорок семь тысяч двести рейхсмарок, что примерно соответствует двадцати трем тысячам долларов.

По инициативе начальника политотдела и был создан армейский эстрадно-цирковой ансамбль, которым руководил Зипун-Натерзон. Однако первая любовь к цирку появилась у Федора гораздо раньше, еще в детстве, в «бабьей стороне». Когда дела с игольным производством шли хорошо, отец Егор Лазаревич иногда в воскресенье надевал праздничный картуз, новую рубаху и вел Федора и Дусю на воскресное представление бродячих трупп, то кукольных, то цирковых. Мать на представления не ходила, считала это дело греховным. Помнит Федор, как впервые был на представлении. Заиграли скрипка, бубен, цимбалы, и выскочил из-за оклеенной обоями ширмы «фон герр Петрушка», запищал: «Почтенные господа, я приехал со своими музыкантами сюда. Не удивляйтесь на мою рожу, что я имею у себя не очень пригожу...» Потом из-за ширмы явились и другие куклы, начали танцевать, а Петрушка уселся на край ширмы и запел: «По улице мостовой...»

Приезжали и циркачи, поднимали тяжести.

— Это у него железо дутое, — объяснял детям Егор Лазаревич, — внутри воздух...

Но когда вышли два клоуна, Федор впервые увидел своего отца от души, захлеб смеющимся.

— Мусье Паяц.

— Я не Паяц.

— А кто ты такой?

— Я человек мастеровой.

— Какого ремесла?

— Я краснодеревщик, из красного лыка на бурлаков лапти плету...

В «бабьей стороне» Федор Егорович бывал редко, последний раз семь лет назад, на похоронах матери. Он знал, что мать болеет, и всякий раз, когда приносили телеграмму, то пугался, смотрел на адрес, не от Дуси ли или от отца о смерти матери. Дуся была замужем за колхозным агрономом по фамилии Попейвода. С отцом она враждовала, когда приходила навещать мать, то не говорила с ним вообще и писала Федору — хорошо бы, чтоб он забрал мать к себе в Москву, подальше от отца, пусть хоть на старости обретет покой. Взяла б к себе в дом, да покоя не будет, отец будет приходить и скандалить. «Может, и верно, взять мать, — думал Федор, — да уживется ли она здесь, в столичной моей квартире, поладит ли с Ириной?»

Жена Федора Егоровича Ирина тоже была популярной драматической артисткой, красивой, надменной, привыкшей к всеобщему обожанию.

Жили Федор и Ирина богато — большая квартира на Тверском бульваре, две породистые собаки, автомобиль — огромный списанный правительственный «ЗИЛ». Пытался Федор добыть разрешение на покупку микроавтобуса — «рафика», необходимого для гастрольных поездок. Однако в этом отказали. Владеть автобусом частным лицам не положено. «А жаль. Был бы „рафик“, поехал бы как-нибудь поколесить по глухим дорогам, передохнуть, собраться с мыслями и заехал бы в „бабью сторону“». Так себя успокаивал, потому что до «бабьей стороны» можно было и на поезде доехать, а тем более за два часа на самолете долететь. Но не ехал, не летел, дела засасывали, похуже, чем болота «бабьей стороны». Не ехал, однако дрожащими пальцами хватал каждую телеграмму, и когда оказывалось, что телеграмма вовсе иного содержания, то думал: «Может, утрясется... Мать не так стара. И Дуся писала, что от посланных мной заграничных лекарств ей полегчало, голова не болит и сердце успокоилось... Путевку бы ей добыть в правительственный санаторий. Ирину попросить, она это лучше сделает».

Однажды под вечер пошел Федор Егорович прогулять собаку и в одном из переулков возле стройки увидел бледную старушку, которая сидела у забора на куче цементных труб. Возле нее лежал завернутый в газету бледно-зеленый парниковый лук. Рядом стоял парень лет тридцати, курил спокойно. Потом взял у старушки из-под пальто влажный носовой платок, намочил его в ближней колонке, отжал и опять ей подал, она сунула под пальто. Сидит. Он стоит над ней, курит.

Эта картина взволновала и поразила Федора. Этот покой, это безразличие к происходящему курящего парня, очевидно сына. Да и старушка чем-то напомнила Федору мать — сухонькая, голубоглазенькая.

В приметы Федор не верил, знамения и прочие религиозные проблемы считал суеверием.

— Я, — шутил, — молюсь только во время запоров.

С некоторых пор Федору это причиняло серьезные страдания.

— Употребляйте побольше клетчатки, — советовал доктор, — овощи, фрукты... И конечно, водолечение...

Федор потреблял, ездил, но увыв...

— Когда наука не помогает, — шутил Федор, — остается обратиться к Богу. На унитаз иду как на Голгофу, знаю, что мучиться буду.

— У вас, Федор Егорович, вялость кровообращения в области воротной вены, — говорил доктор, — недостаточная мышечная деятельность, опущение живота. Возможно также от каких-либо волнений... Угнетенное состояние духа.

И опять прописывал диету — фрукты, овощи, простокваша, рекомендовал массаж живота.

— И конечно же, прогулки, отдых, путешествия, водолечение, купание и вообще все, что поддерживает хорошее состояние духа.

«Легко сказать, — думал Федор, — хорошее состояние духа». Благополучие было внешним, жилось Федору не

слишком хорошо ни с его надменной красивой женой, ни с самим собой. Работой он удовлетворен не был. Чувствовал — мельчит, потекает дурным вкусом. И, несмотря на наличие жены и детей, не к кому было подойти, сесть рядом, ощутить на голове своей теплую ладонь и произнести облегчающие сердце слова. Вот откуда угнетенное состояние духа, вот откуда запоры. Утром, запершись в туалете, как он говорил, садясь на Голгофу, Федор складывал перед лицом своим, прижимал друг к другу поднятые кверху ладони, как это делают люди в молитвенном экстазе. Но при этом пальцы сжимал борцовским замком, давил ладонями одна на другую, так что локти дрожали от напряжения, и, вдохнув глубоко, набрав побольше воздуха, произносил негромко, но с натугой, отдельно, по складам:

— У-мо-ля-ю!

Весьма часто эта придуманная Федором короткая напряженная молитва достигала цели. Возможно, сказывались также и воздействие массажа живота и диета. К тому же настроение начало улучшаться, потому что Федора пригласили сниматься к известному талантливому режиссеру в фильме духовном, трагическом, а о такой работе давно мечталось. Как будто начало налаживаться, темный период жизни, похоже, миновал, и была надежда, что и с матерью образуется. Говорят: пришла беда — отворяй ворота. Но не только дурное идет косяком. И удача идет к удаче. Такие были надежды, однако случайная встреча во время прогулки с бледной, похожей на мать старушкой, возле которой безразлично курил ее сын, опять встревожила, испортила сон.

Восьмого апреля, в канун православной Пасхи, ненастным днем с дождем и мокрым снегом Федор ехал на такси на киностудию для кинопроб. У перекрестка застрял трамвай, образовался затор, пришлось долго стоять. Здесь же, у перекрестка, была маленькая, но старая, чуть ли не петровских времен церковь, и к ней тянулась длинная оче-

редь старушек под зонтиками, с тарелками, обернутыми в белые платки или в марлю.

— Очередь Пасху святить, — сказал шофер такси.

В этой очереди одна из старушек тоже показалась Федору очень похожей на мать, еще более похожей, чем та, которую он встретил во время прогулки с собаками. «Что это за Божьи намеки, — думал Федор, — зачем же, Господи, так назойливо меня преследовать? Разве мало иных богоотступников и богохульников?» Пробовал он себя развеять шуткой, но уж твердо знал — это неспроста. Действительно, в тот же день вечером прибыла телеграмма от Дуси: «Мама умерла, приезжай хоронить». И уже как несущественную, дополнительную деталь к печальной вести воспринял звонок от режиссера. Съемки отменялись, утверждение фильма застряло в каких-то инстанциях.

Похороны матери запомнились как единый кусок — общая скорбь, общий плач. Местный священник говорил напевно, тенором:

— Покойная восприняла милость, явленную ей Господом, и радостно предала свою чистую душу в руки Господа, которого так возлюбила.

— Мать всю жизнь была предана мужу, детям и Богу, — сказала Дуся.

Вскоре после похорон общая скорбь начала дробиться, опять брала верх старая вражда меж Дусей и отцом.

— Это он мать убил. Помнишь, как бил ее? Помнишь, тогда в степи за иглу? Господи, почему он не сдох?

Федор поспешил уехать и с тех пор вот уж семь лет не был в «бабьей стороне». Писал редко, на Новый год да на 1 Мая — открытку отцу, открытку Дусе. Они отвечали тоже коротко — открытками. Однако под нынешний Новый год вместо поздравительной открытки получил Федор от отца длинное письмо с большим количеством цитат из Писания и с рассуждениями религиозного содержания. «Один человек в молодости мне советовал, — писал отец, — когда

идешь в церковь, проси великие дары, не проси мелочи — богатства или здоровья... Жизнью своей, уж прожитой, чувствую, что правду он сказал. А отчего ж не воспользовался этой правдой — вот что меня мучит. Иной раз думаю — сам себя я обманул, а иной раз, кто-то меня обманул, а кто — понять не могу. Отчего человеку трудно войти в Царство Небесное, как верблюду трудно пройти сквозь игольные уши? Кто его обманывает? Дьявол? Так от дьявола святой крест спасти может. Перед кем же святой крест силы не имеет? Не те ли нас обманывают, которым мы верить должны?»

Странное было письмо, еретическое. За такие писания в давние времена в деревянных клетках на льду реки сжигали. «Хорошо бы все-таки съездить в „бабью сторону“, повидаться с отцом и сестру увидеть. К истокам прикоснуться, это поможет в работе».

Дело в том, что фильм, семь лет назад запрещенный, как будто получил теперь поддержку в инстанциях, где произошли определенные перемены. Картина должна была сниматься в «православном» стиле, с музыкальным перезвоном колоколов, лирикой отечественного пейзажа и пафосом церковных служб. Сценарий, написанный самим режиссером, первоначально назывался «Заступница», но затем получил рабочее название «Случай в селе Каплуновка». Речь шла об одном из эпизодов войны Петра Первого с Карлом XII накануне Полтавского сражения. Воины Карла пытались поджечь приходскую церковь, а она не горела.

— В этой церкви находится чудотворная икона Богородицы, заступницы русских, — говорит Карлу Мазепа, мучимый раскаянием за измену отечеству. — Поэтому она не горит.

Эти слова повергают Карла XII в страх и сомнения. Сомнения эти подтверждаются поражением в Полтавской битве.

Федор должен был играть попа-патриота, отдающего жизнь за отечество. Роль была для него привлекательна своей необычностью, но трудна. Особенно тяжелы были монологи, часть которых надо было произносить на старославянском языке.

— Егда слышах помышлях: како страшное и милосердное видение и паче надеянием заступления нашего бысть без празднества. Восхотел, да не без праздника останется святыи Покров Твой, Преплагая!

Смысл многих монологов Федор понимал смутно, попоугайски учил наизусть. Получить такую роль ему, хоть и известному, популярному, но с репутацией комика, даже циркового клоуна, — большой почет. Ведь желающих хватает и всегда будет хватать. Театр и кино — единственные отрасли в Советском Союзе, где официально разрешается безработица. Надо стараться, читать побольше книг, особенно рекомендованных режиссером, и быть осторожней в высказываниях. В беседах с режиссером Федор как-то употребил выражение — поп.

— Не поп, а священник, — раздраженно прервал Федора режиссер и глянул сердито своими зеленовато-желтыми глазами.

— Но ведь у Пушкина: поп — толоконный лоб, — пробовал возражать Федор, — пошел поп по базару, поискать кой-какого товару. А навстречу ему Балда, идет, сам не зная куда... В двух словах дана суть русского человека — идет, сам не зная куда.

— Что Пушкин, — еще более раздраженно сказал режиссер. — Пушкин оттуда, — и показал пальцем вверх, — не более обычной букашки... Я понимаю, тебя тянет на комикование... Но ты должен сломать себя. Библию читай, Жития святых читай... Великомучеников многострадальных.

Разговор этот происходил не на студии, а у режиссера дома, где на стенах висели иконы, распятия, висел групповой

портрет семьи Николая II и какого-то старика, который оказался Иоанном Кронштадтским.

— Вот его читай, — сказал режиссер, показав пальцем на портрет старика, — он тебе душу переменит.

— Жития святых мучеников мне в детстве мать покойная читала, — сказал Федор.

— Вот видишь, значит, первооснова у тебя есть... Главное — наслоения с себя снять. Так со старых икон при реставрации грязные мазки позднего ремесла снимают... С Алешей в церковь сходи... Алеша — божий человек...

Алеша был композитор, пишущий для фильма музыку, худощавый, сероглазый, с рыжевато-серой длинной бородой, но одетый модно, по-заграничному. За рубежом его исполняли, и он пользовался «Березкой». По паспорту имя Алеши было Роберт, и среди друзей его звали Робчик, но с некоторых пор это ему перестало нравиться, и он просил всех именовать его Алешей.

Как-то Федор договорился встретиться с Робчиком-Алешей в церкви, где служил популярный среди интеллигенции священник, но, придя, не застал его, чему очень удивился. При такой-то религиозности. Это, впрочем, Федора даже обрадовало, потому что чем более он читал церковных книг, тем более чувствовал в себе какой-то протест и даже страх. А еще Федор не мог принять чрезмерную церковную серьезность во всем. И когда он слышал монолог проповедника: «Позаботьтесь, сколько есть сил, о душе своей, чтоб иметь возможность без задержки перейти область воздушных духов и избежать лютой руки князя Тьмы», то просто изнывал от греховного желания рассмеяться. В детстве он получал за это ложкой по лбу, а кроткую свою мать ужасал. Ныне такое настроение могло кончиться еще хуже — роль отберут. Уж и так он слышал, не везде одобряют выбор режиссера, взявшего в этот свой патристический фильм клоуна. Все это понимал Федор, но внутренний протест в нем не утихал.

«Наверно, дело не только в моей природной смешливости, — думал Федор, — вот и отец прислал еретическое письмо... Ересь у нас в крови... Новгородская ересь... Жители „бабьей стороны“ — это ведь потомки новгородцев, выселенных из Новгорода при Иване Грозном. Нас, истинно русских, северных европейцев, московские монголоиды называли жидовствующими, оттого что мы хотели верить с открытыми глазами».

— Я хлебопродавец, — рассказывал торжественно-похоронным голосом какую-то притчу проповедник с амвона, — когда я вынимал сегодня из печи хлеба, явился мне какой-то светоносный муж, высокий ростом и прекрасный на вид, и повелительно сказал: «Неси все эти хлеба рабам Вышнего...»

От этого возвышенного голоса и от самой притчи Федору стало совсем скучно, он начал глядеть по сторонам и вдруг увидел Алешу, которого прежде не заметил, потому что тот лежал, скорчившись, на полу. Рядом с ним, так же скорчившись, лежала его жена, балерина музыкально-драматического театра, и две его дочери-подростки... Федор торопливо выбрался из церкви, по пути толкнув кого-то из молящихся и не имея возможности извиниться, потому что грудь его распирали смех. На улице его буквально гнуло, ломало от смеха, и прохожие оглядывались на него как на сумасшедшего. Можно ли в таком состоянии, в таком душевном настроении взяться за работу в патриотическо-православном фильме? Не честней ли отказаться? Вечером, листая книги, он наткнулся на высказывание Белинского: «Когда европейцем, особенно католиком, овладевает религиозный дух, он делается обличителем несправой власти, подобно еврейским пророкам, обличавшим в беззаконии сильных мира сего. У нас же — наоборот, постигнет человека, даже порядочного, болезнь, известная у врачей-психиатров под именем „religios mania“, он тотчас же земному богу подкуривает больше, чем небесному... По-вашему, русский народ самый религиозный в мире? Ложь! Основа религиозности

есть пиэтизм, благоговение, страх Божий. А русский человек произносит имя Божие, почесывая себе задницу. Он говорит об образе: годится — молиться, не годится — горшки накрывать. Приглядитесь пристальней, и вы увидите, что по натуре своей это глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности». В этой свободе от религиозности Белинский видел будущую судьбу русского народа. Высказывание Белинского, примеры, приведенные Белинским, во многом соответствовали тому, что видел Федор в детстве, в «бабьей стороне». Но и в них полной правды не было, потому что Белинский искал в конкретных фактах народной жизни лишь подтверждение своих идеологических верований. «Тот, кто не хочет верить, пусть не верит, — думал Федор, — но почему тот, кто хочет верить, не может верить иначе как лицемеря и модничая, подобно нашей интеллигенции, или закрыв глаза, как верила моя покойная мать». Нет, с такими мыслями и сомнениями от роли надо отказаться. Федор решил наутро позвонить режиссеру, однако когда он сказал об этом Ирине, она посмотрела на него сердито и удивленно.

— Ты с ума сошел, — сказала она, — это ведь для тебя такая стартовая площадка. После этого фильма, после этой роли ты выйдешь на новую орбиту.

Как-то в мебельном магазине Ирина познакомилась с женой одного из космонавтов. Вместе вне очереди получали мебельный гарнитур. С тех пор дружили семьями, Ирина этим очень гордилась и любила вставлять в свои высказывания космические словечки.

— Это у тебя, Федор, от усталости, — успокаивающе-покровительственно сказала Ирина тоном, каким она говорила и с дочерьми, совершившими какой-то проступок, — и выглядишь ты, Федор, неважно. Опять боли в кишечнике?

— Да, опять побаливает, — ответил Федор.

— Тебе, Федор, надо в санаторий... Хочешь, я этим займусь?

Действительно, на следующий день Ирина принесла список санаториев.

— Особенно этот мне рекомендовали, — сказала Ирина, — возле Сочи.

Федор прочитал список и вдруг увидел — «Красная Ляга». Это было в его местности, в «бабьей стороне».

— Какой-то колхозный санаторий, — сказала Ирина, — недавно открыт для местных колхозников и прочих подобных. Там ни врачей приличных, ни оборудования. Там лечиться нельзя.

— Отчего ж нельзя, — сказал Федор, — вон в рекламации написано: вода разогрета в недрах земли до шестидесяти градусов, содержит много полезных микроэлементов. Как раз то, что мне нужно. И покой, лес, нет сочинской суеты. Это в моей местности, Ирина. Хочется своих повидать: сестру, отца, с похорон матери не видел. В «Красную Лягу» путевку возьму.

Заказав путевку в санаторий, Федор написал письмо отцу и сестре, что должен быть в их местности и обязательно заедет повидаться. Сестра Дуся на его письмо не ответила. Впрочем, это уже случалось — работа, семейные хлопоты. Работала Дуся в колхозе поварихой, но у нее было и собственное хозяйство. Федор знал, что к нему сестра относится с завистью, как к человеку, ловко устроившемуся в жизни.

— И главное, подальше от отца, — сказала она Федору, когда он был прошлый раз. — Пока мать была жива, вынуждена была ходить к нему в дом, а теперь не хожу и видеть не могу.

— Все-таки отец это наш, — сказал Федор, — он теперь одинок, ему помощь нужна.

— Помощь? — сказала Дуся, и ее потное жирное лицо исказилось ненавистью. — Как он над матерью издевался... А как меня в кузнице вешал... И над людьми издевается, и над животными. У него собака Бурсук все время на цепи.

Кормит хлебом и водой и чуть что бьет пряжкой прямо по голове. Как-то Бурсук с цепи сорвался, за собачьей свадьбой побежал, так поймал и так бил, что, думали, глаза выбил. Мать отняла, хоть и ей досталось. Помощь ему нужна! Тебе легко говорить из Москвы.

Дуся, особенно с годами, становилась удивительно похожа на отца — и тяжелой короткорукой фигурой, и грубым, мужским своим лицом, и в ее словах, в выражениях лица Федору чудился отец: такая же тупая серьезность, такая же по-детски открытая злоба.

— Гад он, а не отец, — продолжала Дуся в самозабвении, и Федор чувствовал, что эта злоба настолько накопилась, что была Дуся приятна, была ее любимым состоянием. Дуся, видно, и сама заметила, что переборщила, поэтому постаралась повернуть разговор на иное: — Ты-то как? Как здоровье?

— Ничего здоровье. Если нет острых приступов, человек здоров, пока он не ходит по докторам. Начинает ходить по докторам — становится больной.

— Это верно, — сказала Дуся, — я вот на рассвете встаю, голова кружится, но к докторам не хожу. Да и где эти доктора в нашей местности. Один фельдшер в медпункте. Как у матери приступ, помочь некому. А у вас там в Москве профессор на профессоре скачет и профессором погоняет...

И опять Федор почувствовал упрек.

— Ты ведь знаешь, что мать не хотела ехать ко мне, — сказал он дрогнувшим голосом, ибо говорил неправду: хотел мать пригласить, но не пригласил, — и в санаторий ехать не хотела. Конечно, я виноват, не отрицаю.

— Ах, все мы виноваты, — увидав его скорбящее, кающееся лицо, ответила Дуся, — что уж теперь.

Они обнялись, поцеловались на прощание. Расстались дружески, но писала Дуся редко, а на его письма не всегда отвечала. Не ответила она и на последнее письмо, в котором Федор сообщал, что приезжает. Отец же ответил, что рад его

приезду, ждет с нетерпением, о многом хочет поговорить. Писал он также, что если Федора это не слишком затруднит, то пусть купит ему в Москве кожаную кепку, такую, как Ленин носил. Деньги он отдаст. «Все-таки, — подумал Федор, — как много в отце осталось нерастраченной, глупой чистоты. Когда затрубит архангел, эта чистота единственно будет отцу в оправдание. А ленинскую кепку надо бы в „Березке“ посмотреть. Впрочем, носил ли Ленин кожаную кепку? По-моему, носил обыкновенную, ширпотребовскую. Только ширпотреб тогда, в царские времена, был иной».

Путевка в санаторий была с середины будущего месяца, но выехал Федор на неделю раньше, чтоб побывать у своих. И когда пошли, закружили, запрыгали за вагонным окном родные места «бабьей стороны», когда вдохнул свежесырой, болотисто-лесной воздух, почувствовал Федор сильное нервное возбуждение, сильное душевное волнение. Было неудобно перед другими пассажирами спального вагона, потому что из глаз все время текли слезы, и Федор делал вид, что это от ветра. Уходил в шатающийся, гремящий поездной туалет, умывался, расчесывался, приводил себя в порядок, но едва выходил и становился у окна, как опять сжималось сердце, текли слезы. «Так и до истерики недалеко, — думал Федор, — ты, дорогой, совсем распустился. Просто перед самим собой стыдно, не говоря уже о посторонних». Однако мелькнет желтыми полосами рожь, мелькнут у дощатых заборов ветвистые заросли крапивы, заболоченные заливные луга по низким берегам северной речки — успокоиться невозможно. Федор изнывал от какой-то восторженной, торжественной скорби, им овладевшей. Впрочем, к вечеру острота притупилась, минула, пейзаж, достаточно однообразный, примелькался. Лес то приближался вплотную к дороге, то стремительно отодвигался, прилипал к горизонту, в мутных сумерках тускло, как в погребке, горели огоньки, и, когда зашло солнце, действительно запахло сырým погребом. «Все-таки дикие места, —

подумал Федор, — человеку непривычному или отвыкшему жить здесь трудно. Разве что несколько дней. Несколько дней и поживу. Человек не жаба, скорее рыба — ищет, где лучше. Жаба, я слышал, так привязана к родному болоту, что часто возвращается туда за несколько километров, даже если болото осушено и превращено в шоссе. Предпочитает лучше погибнуть под колесами автомобилей, чем уйти из родных мест. Мы же, если так пойдет дальше, не то что от родной земли — от родного тела откажемся. Владимир (это космонавт, с которым вместе вне очереди получали мебельный гарнитур) говорит — чтоб полностью овладеть космосом для полетов в дальние миры, человек должен отказаться от собственного тела, оставив только голову. Такое практическое бессмертие якобы вполне достижимо, учитывая новейшие научные открытия. Такой человек, точнее, его голова, подключенная к приборам, будет видеть в темноте, чувствовать излучение инфракрасных лучей, и вообще будет такой человек-голова независим от земли... Чушь какая-то. У Пушкина в „Руслане и Людмиле“ такой человек, впрочем, существует... Голова Черномора...»

Подобным образом рассуждая, Федор шел от шоссе по грязному проселку к своей родной деревне, потому что нанятый в городе шофер такси на проселок сворачивать отказался. Пришлось Федору с увесистым чемоданом шлепать по грязи километра три под не редким в «бабьей стороне» неутомимым дождем.

3

Сестра Дуся встретила Федора суетливо-радостно.

— Вот, братец, неожиданные радости... Что ж ты не написал, не предупредил, я б пельменей налепила.

— Я писал, — сказал Федор, глядя, как Дуся носится по комнате, пряча разбросанные повсюду тряпки, убирая

со стола грязную посуду, — я писал, да ты не ответила почему-то.

— Значит, письмо затерялось, — сказала Дуся, — у нас видишь что делается. Я замotalась совсем. Вон Сонины дети у меня, — она показала на голубоглазеньких девочку и мальчика, — ты их не знаешь, ты последний раз был, когда мать хоронили, семь лет назад, а им по пять... Ты располагайся, Федор, я тебя сейчас покормлю.

— Я не голоден, поужинал в поезде, — сказал Федор, присаживаясь к столу, чувствуя разом навалившуюся усталость, и когда девочка заплакала, очевидно не поладив с братом, визгливый плач ее отдался у Федора в висках.

— Жили-были дед да баба, — начала Дуся успокаивать девочку, — ели кашу с молочком, рассердился дед на бабу, трах по пузу кулачком. — Дети засмеялись. Она поцеловала девочку, потом мальчика. — У них еще и младший братик есть, — сказала она умиленно, — Петюша... Маленький, его от земли не видно... Такой хорошенький мальчишек, — по-поросычьи завизжала вдруг она, — с братиком гуляет и, чуть упадет, сразу: Вова, вава... Вова — это старший, ты его знаешь. Сейчас старшенький с младшеньким вместе с Соней и ее мужем в Анапе, на «Золотых песках», а средненькие у меня... Они деда Самсона никак не дождутся, дед Самсон им всегда гостинцы приносит...

— Как отец-то? — спросил Федор. — Здоров ли?

Умиленное, глуповато-доброе лицо Дуси разом преобразилось, точно сдернули маску и под ней оказалось подлинное, серьезно-злое.

— И знать не хочу, и видеть не хочу, — сказала она, — с Нового года не видела. Он у меня не бывает, и я у него не бываю. А на Новый год вдруг пришел. Купил два килограмма селедки, полкило маслин, два хлеба, бутылку водки и без всякого предупреждения заявился. Я, говорит, по праву отца пришел. А были у меня на Новый год Соня с мужем и племянница с мужем, двоюродной нашей сестры

Клавдии дочка. Выпили, поели и легли спать, а отец и муж племянницы остались сидеть и принялись беседовать. Беседовали-беседовали, потом спорить начали. Отец за Христа, а муж племянницы — коммунист, против. Спорили до тех пор, пока отец кулаками не стал махать. Муж племянницы терпит, не хочет со стариком драться, но на своем стоит. Отец опять кулаком, муж племянницы кровь пролил, но держится своего убеждения. Наконец, когда отец еще пару раз кулаком, муж племянницы не выдержал, и началась драка. Все повскакивали. Мой муж, Самсон, ты же знаешь, какой добрый, вежливый. Никогда не скажет — котлета. Всегда — котлеточка. Самсон мужу племянницы говорит: «Выйди, милый, на пять минут, пусть дед успокоится». А отец, вместо того чтобы успокоиться, на Самсона и на всех нас кричать стал. А мы на него. В общем накричались, как цыгане...

Пришел Самсон, худощавый, с залысинами, с украинским чернобровым лицом. Федор слышал, как Дуся о чем-то тихо говорила Самсону в передней, а потом громко, войдя в комнату, сказала:

— Вот у нас гость какой!

— Здоровеньки булы, — сказал Самсон.

Пока Дуся готовила ужин, дети стали играть с Самсоном. Девочка забралась к нему на плечи, а мальчик наскокивал спереди. Смех у Самсона был дребезжащий, как подвезанное к телеге ведро дребезжит, и голова у Федора совсем разболелась. «Надо бы принять таблетку, — подумал он, — и хорошо бы лечь спать, да придется сидеть за ужином, иначе Дуся обидится». Отбиваясь от наседавшего на него мальчика, Самсон хватал его спереди за штанишки и кричал:

— Цюцюрку видирву!

Пока уложили детей и сели ужинать, Федор уж еле держал свою свинцовую голову. Вспоминалась широкая, удобная московская постель. Положить бы голову на подушку — это и есть в данный момент Царство Небесное...

Впрочем, от настоящей на клюкве водки в голове полегчало, усталость давила уж не на всю голову, а на один лишь глаз, плечи и руки приятно отяжелели. Выпив, Самсон разговорился:

— Работал я до колхоза в агрономической службе северных железных дорог... Дождей нет, жара, жито низкорослое... Жито — это я по-нашему говорю... У нас на Украине «жито» означает «рожь», а здесь, на севере, житом обозначают овес... Так вот, скашиваем мы низкорослую рожь на сенаж. Мне телеграмма — прекратить. Я говорю — продолжать. Если спрашивать будут, говорите, Попейвода велел. Раз яровые низкорослые, выгоревшие участки разделявать и засеивать травами на сенаж. Приезжают — кто велел? Я велел. Ага. А ты в принципе кто? А я в принципе никто. Они говорят: как ты смеешь? Что ты орешь? Я говорю, это ты орешь, а я кричу. Они говорят, мы тебя, Попейвода, туда-сюда. А я говорю — ничего. Поцелуй меня в голое место.

— Замолкни, Самсон, — вмешалась Дуся, — выпил лишнее... Не видишь разве, Федор нездоров... Он к нам по дороге в санаторий заехал...

— Это в который санаторий? В «Красную Лягу»? Там хорошо... Лечебница — сто двадцать коек. У тебя, Федор, что? Колит? Запор? Я тебе скажу, докторам поменьше доверяй... Яблочко, лучок, соленая рыбка — все это способствует...

— Пойдем, пойдем, Самсон, спать, — сказала Дуся.

— Доктора что угодно лечить будут, лишь бы деньги платили, — сказал Самсон, — у меня друг от импотенции лечится... Я ему говорю — заплати мне половину, я тебя вылечу... Главное в этом деле — настроиться по-боевому, настроиться по-боевому...

— Пойдем, пойдем, Самсон, — уж громче сказала Дуся и обхватила мужа за плечи.

— Пойди вон! — вдруг озлился Самсон и толкнул ее.

— Верно, уж спать пора, — сказал Федор.

— А ты меня не учи! — озлился и на Федора Самсон, повернулся к Дусе, указывая на Федора пальцем. — Эта невежда начала учить меня жить, — сказал он о Федоре в женском роде, — меня, Самсона Кузьмича.

Дуся, гикнув, покраснев лицом от натуги, подняла костистого, жилистого мужа и повела его из столовой комнаты в спальню. Оттуда послышалось сопение, возня, треск рвущейся материи, и наконец всю эту гамму звуков завершил хлопок звонкой пощечины. Поскольку просто так сидеть у стола было нелепо, а что еще делать в этой ситуации, Федор не знал, он налил себе клюквенной водки, и в этот момент вошла Дуся, в расстегнутой кофте, с надорванным у плеча рукавом. Она села рядом, тоже налила себе водки.

— Ты, Федор, на Самсона не обижайся, он, когда помнит себя, человек хороший, а когда выпьет, себя не помнит. Сам он из сирот украинского колхозного голода, вся семья к тридцать второму году померла. И агрономическая работа у него, конечно, нервная. Отец, тот злодей, а Самсон просто нервный. Года два назад отец тоже заходил для какого-то разговора, и с Самсоном завелись. Так хватали с газовой плиты круги чугунные и друг друга по голове... Отец, конечно, первый схватил. Это не отец — злодей. Я б на твоём месте к нему не ходила.

— Как же не ходить? Я специально приехал навестить.

— Ну, смотри, я тебя предупредила. Что он на меня говорить будет, это пусть ему Бог воздаст. Я знаю, он мне смерти желает, боится, что я его деньги заберу, а сам живет как разбойник. Ворота у него железные, и калитку в воротах можно отворить спецключом, который сам смастерил... Ух, злодей, временами вспомню, как он над матерью издевался, и мечтаю убить его. — Она вдруг замолкла, закатила глаза и чихнула раз и другой. — Вот видишь, правду говорю. Первое время после смерти матери, как и ты, думала — все-таки отец... Прихожу к нему со своим мясом. Мясо чищу, а пленку коту. А отец с полу поднимает и назад — зачем кота баловать, он

это не ест, вода и хлеб, другое не понимает... Кота он на цепь посадить не смог, как Бурсука. Кот от него сбежал. Жаль, мать наша всю жизнь возле него на цепи просидела...

Долго б она еще так говорила, видно наболело, накипело, но, заметив, что Федор совсем уж раскис, едва держит голову, сказала:

— Ну, иди спать... А мне уж и спать некогда, в пять вставать...

Спал Федор на диване, твердом и скользком, все время едва не скатывался, пока не нашел удобную позу на боку. Но как нашел позу — заснул крепко и проснулся в солнечной горячей тишине, нарушаемой лишь жужжанием мух, носящихся в воздухе и садящихся на оставленный Федору завтрак — неприкрытую масленку, холодный отварной картофель, крупно нарезанный лук с помидорами. Пробовали мухи и от ржаного хлеба, и от глиняного кувшина молока. Рядом с завтраком лежал ключ со шнурком, чтоб, уходя, Федор запер дверь. Начал завтракать Федор без аппетита, с некоторой даже брезгливостью, однако, попробовав крестьянского молока, ржаного хлеба, наверно собственной выпечки, с желтым маслом, и о мухах забыл. Позавтракав, вышел из дому.

Подойдя к отцовской хате, Федор действительно увидел новые железные ворота и калитку с маленькой дырочкой, видно для спецключа собственного изготовления, о котором говорила Дуся. Федор нажал кнопку звонка, и тотчас в ответ, словно ожидая этого, хрипло, по-стариковски залаял Бурсук. Послышались знакомые тяжелые шаги отца.

— Кто там? — спросил он.

— Это я, — ответил Федор.

— Кто там? — еще раз спросил отец, не расслышав или не узнав, но спросил, похоже, кого-то во дворе, словно интересуясь, не узнал ли тот.

«Кто это у него там?» — подумал Федор и опять назвал себя.

— А, это ты, — сказал отец спокойно-безразличным тоном, неожиданным, не соответствующим письмам, которые он писал о том, что ждет сына, и заскрежетал спецключом, отворяя калитку, — ну, иди, иди, хочу тебя в щеку поцеловать...

Но не поцеловал. Во дворе, кроме отца, никого не было, значит, разговаривал с Бурсуком. Бурсук, коротколапый, большеголовый пес, несмотря на пожизненное сидение на цепи и побои, был привязан к отцу, да и отец, пожалуй, любил его. В молодости Бурсук, также вопреки суровой жизни, был веселым псом, прыгал высоко, ложился на спину, когда приходил знакомый человек. Теперь же он лишь что-то по-стариковски пробурчал, завидев Федора.

— Ты не смотри, что он стар, — сказал отец, — службу знает, сторож хороший... Вчера почтальон обещал жалобу написать... — и улыбнулся, показав странно торчащие, темно-красного цвета зубы. Перехватив удивленный взгляд Федора, сказал: — Эти зубы я сам себе сделал из пластмассы. Лучше докторских жуют.

Вошли в дом. Здесь перемен за семь лет после смерти матери было еще больше. Мать была портниха, вышивальщица, чистюля. При матери все было починено, почищено, подметено и отец был чист и опрятен. Сейчас же вокруг грязь такая, что Федору некуда было глаза отвести, куда ни посмотрит — грязь. Но особенно неприятно стало, когда отец начал есть.

— Ты уже завтракал? — спросил он, принеся и ставя на стол какую-то серого цвета кашу и неровно, толсто нарезанный хлеб.

— Я завтракал у Дуси.

— У Дуси... У Дуси остановился, у отца не захотел.

— Поздно приехал, думал, зачем беспокоить, — заторпился Федор и тут же сообразил: вот причина настроженной встречи...

Ел отец неопрятно, грязными руками брал куски хлеба. Тут же, правда не на столе, а на стуле, стояла железная коробка, в которую отец во время еды плевал. Пол тоже был заплеван. Поев, сняв зубы из красной пластмассы, не помыв, положил их на стол.

— Я тебе кепку привез, о которой ты просил, — сказал Федор, протягивая сверток и стараясь не глядеть на красные пластмассовые зубы.

— За это спасибо, — обрадовался отец и, разорвав пакет, пошел примерять кепку в спальню, где висело мутное зеркало. В спальне тоже произошли перемены. Куда-то исчезла широкая лежанка, на которой отец спал с матерью и на которой мать умерла. Вместо нее стояла узкая, неудобная кровать. — Сколько я тебе за ленинскую кепку должен? — спросил отец.

— Это подарок.

— Ну, спасибо, Федор Егорович... Хоть ты у меня добрым человеком вырос, а вот дочь — хуже врага. Зачем я ее такую породил, почему в детстве не прибил...

— Ты ведь христианин, — сказал Федор, — христианам и врага велено любить, а она тебе дочь родная.

— Дочь родная... А знаешь, что она меня чулком душила? Сняла с ноги чулок и душила. И муж у нее бандит. Если может ножом пырнуть, чтоб никто не видел, — пырнет... Они меня ограбить хотят. По голове кругами от газовой плиты били, до крови голову разбили...

Он вдруг заплакал. Плакал он как ребенок, лицо сразу стало доброе, беспомощное. Долго по-детски всхлипывал. Трудно было представить, что этот же человек за одолженную иглу страшно бил в степи мать, что он вешал когда-то Дусю в кузнице и заставлял Федора и Дусю в детстве работать от зари до темна.

— В Писании сказано — надо все прощать, — сказал Федор, утирая слезящиеся глаза, ибо от отцовского плача его тоже проняло.

— Вот это я в Писании понять не могу, — сказал отец, — об этом я в письме писал. Ты мое письмо получил?

— Да, получил.

— Как же прощать, если в заповедях сказано: не кради, не прелюбодействуй, возлюби отца своего...

— Там сказано, возлюби ближнего своего, — поправил Федор.

— А кто может быть ближе, чем родивший тебя отец? Ты в Бога веришь?

— Я, отец, верующий одиночка.

— Это как понять?

— Я не признаю организованной веры совместно с многими и не признаю организации, этим занимающейся.

— Значит, ты в церковь не ходишь, — понял отец.

— Очень редко.

— Сам себе поп, сам себе пророк. Ну, не в этом суть. Суть в грехе. Прощение греха — это ведь нарушение заповеди. Как же — не кради, не убей, если за все это простить можно... А если простить можно, к чему тогда заповеди? Вот сказано, — он взял с тумбочки большую, тяжелую Библию, полистал зачитанные, замусоленные, покрытые пометками страницы, — «Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюдай заповеди: не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать». Видишь, про отца и мать отдельно сказано. Не просто ближние, а отец и мать... Тут в соседней деревне Пьянково был Милентий-младший, брат Шостака Федорова, Милентий Федоров. Он при всех властях пастух. Пастух по профессии. Пастух деревни и пастух колхоза. На пастушество свое он содержал семью. Сын его любил девушку, но девушка была против, потому что отец пастух. Сын, электрик в колхозе, убил отца сзади и бросил на улице. Вот какое дело. Девушка, к которой он сватался, работала в колхозе при свиньях. Варила свиньям еду в электрических казанах. Большие такие казаны, на много свиней. Как-то испортилось. Позвали сына исправить. Он пришел, да спот-

кнулся и упал в свинячье варево. Грех, большой грех свариться в свинячьей дыхлятине... Ему за отца не простилось... А когда молодой был, сватался к Кате, — вдруг добавил он невпопад, без всякой связи с рассказанной историей.

— К какой Кате? — удивился Федор.

— Это давно было, — сказал отец, — эх, Федор, ты той жизни не знаешь. Была и у меня веселая, радостная жизнь, была и у меня ангельская душа. Умри я тогда, вошел бы в Царство Небесное. Если б задушил меня твой дед, Лазарь Иванович... Возле солеварен, там, где теперь санаторий «Красная Ляга», когда шли мы с заработков, он меня за деньги душить стал... И вот когда думаю я про жизнь свою и про жизнь, мне известную, то Писания понять не могу. Не про нас оно написано. Для нас, но не про нас. Что теперь делать, Федор, как помирать, не пойму...

— Куда тебе умирать, отец, — сказал Федор, этой фразой стараясь не только успокоить отца, но и уйти от трясины религиозной философии, которая засосет любого, стоит лишь ступить. — Куда тебе умирать, — повторил Федор, — ты меня покрепче.

И действительно, выглядел Егор Лазаревич физически здоровым, крепким. Ходил по двору, по камням босой.

— Просьба у меня к тебе, Федор, — сказал отец, — как помру, рядом с женой положить. И тот костюм, который мне мать за сто рублей купила, на меня не надевай. Купи старенький на барахолке, потому что могилу разроют, украдут.

За чаем, от которого Федор рад бы был отказаться, потому что подал его отец в мутных липких стаканах и сахар в сахарнице был мокрый, отец сказал, глядя обиженно:

— Я, Федор, надеялся, ты мне pomoжешь, разъяснишь по-научному, а и ты ничего не знаешь.

Уходя, Федор заметил на тумбочке рядом с Библией книгу Толстого «Воскресение».

— Это ты, отец, читаешь? — удивленно спросил Федор.

— Нет, я пробовал — скучно. Это мать читала, с тех пор и лежит. Помню, сидит в очках и читает. Читает, читает, а иной раз слышу — плачет. — Лицо его опять стало беспомощным, ребячьим. — Знаешь, Федор, что мне мать твоя незадолго до смерти говорила, она разговорчивой стала, беседовала со мной подолгу... Как-то говорит: сказано — не хлебом единым жив человек. А знаешь, говорит, чем человек жив? Чужими сердцами... Вот что он ест... Чужие сердца пожирает — этим и жив.

После посещения родных Федор приехал в санаторий крайне расстроенным физически и духовно. Несколько дней он даже температурил. У него появились боли в пояснице и лихорадка, так что водолечение он начал с запозданием. Однако терапевтические процедуры и чудесный хвойный воздух восстановили физические силы, а с ними начало возвращаться и душевное равновесие. Он нашел удобные себе мысли и удобные себе слова, чтоб успокоиться и объяснить увиденное. Тем более было это для него не новостью. Просто от соприкосновения вспомнилось, всколыхнулось и обрело дополнительные черты все то, что было ему давно чуждо и в родных своих, и в «бабьей стороне». «Мать я, жалко, отсюда не вытащил — это другое дело. Но теперь уж этому не поможешь». В свободное от процедур и отдыха время он начал почитать взятый с собой сценарий, и весьма кстати, потому что режиссер вскоре напомнил о предстоящей работе телефонным звонком.

— Как ты там? — спросил среди прочего режиссер. — Хорошие, видно, места, Русью пахнет, не то что в ассирийской Москве. Твою кандидатуру я уже застолбил, почти весь состав уже подобрали. С ноября начнем павильон, если Бог поможет.

— Кстати, — напомнил Федор, — я тебе предлагал интересного актера из Новосибирска. Он малоизвестен, но очень талантлив. И человек хороший. Я с ним вместе воевал, и он фактически был первым моим учителем... Помнишь?

— Помню, помню, о ком ты, — сказал режиссер, — мы его смотрели. Зипун, да? Мы его смотрели.

— Ну и как? Правда, замечательно?

— Видишь ли, Федор, наша картина должна быть русской... Подлинно русской, от осветителя до актеров... Есть грузинское кино, есть узбекское кино, но нет русского кино... Ты пойми меня правильно...

«Что поделаешь, — думал Федор, несколько загрустивший после этого разговора, — жаль, что такой талант отдает дань распространенному предрассудку, но что поделаешь, мало ли с чем приходится жить».

Вокруг санатория был большой участок леса, превращенного в парк. Под вековыми елями и соснами расчистили дорожки, посыпали их песком, поставили скамейки. Федор уходил в глубину парка, садился на скамейку и учил роль.

— Мрачные облака рассеиваются. Солнце воссияло, ибо Пречистая сама молит Сына своего, как ходатся. Царица всех идет на избавление России из Седьмиезерской пúстыни.

Текст был тяжелым, слова путались, особенно «ходатся» постоянно произносилось как «ходатится», и трудно было запомнить Седьмиезерскую пустынь.

Однажды, когда Федор вечером прогуливался по аллеям парка, к нему подошел полнощекый, с красивым, но грубым лицом человек, чем-то напоминавший деревенского донжуана, первого парня на деревне. Однако, вопреки внешности, говорил он слабым, умиленным голосом:

— Простите за назойливое желание познакомиться, я случайно слышал, как горячо вы молились в глубине парка. Это меня порадовало, тем более, судя по всему, человек вы не местный и образованный... Теперь таких людей мало... Изменился человек. Если б мы любили мир, а то ведь мы любим наслаждение.

— Я не молюсь, я учу роль, — сказал Федор.

— Значит, вы артист?

— Да, артист. Должен сниматься в фильме.

— Значит, теперь будут сниматься религиозные фильмы?

— Ну, не религиозный, патриотический скорей.

— Как хорошо! Ведь религиозный человек — патриот вдвойне.

— А вы поп? Э-э-э... Священник?

— Нет, я маляр. Церкви крашу. Покраска куполов и глав. Позолота. Работал также по покрытию куполов листовым церковным золотом. Коробкин моя фамилия.

Они разговорились, познакомились и с тех пор гуляли вместе, беседовали, ибо Федор подумал, что это поможет ему в работе над ролью. Но и помимо работы над ролью Федор читал Писание уже для себя, особенно перечитывая место об игольных ушах. То есть о беседе Иисуса с богатым юношей, чувствуя, что в этом евангельском эпизоде заключено ядро всего Евангелия. И чем более он читал, тем менее понимал и тем более недоумевал, особенно читая комментарии церковного догмата к этому эпизоду, церковные разъяснения. Всесторонне и подробно этот эпизод был дан в первом Евангелии от Матфея, и в нем понятно разъяснялось, отчего Евангелие возникло и чем оно отличается от Старого Завета. «И вот некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Сказано это было ясно и недвусмысленно, как мог сказать тот, кто твердо верил в Единобожие. Но церковный догмат комментировал, разъяснял: «Этим ответом Господь хочет возвысить мысли юноши и привести его к тому, чтоб он поставил себе вопрос: не Бог ли сей „Благой учитель“». Подобными красно- и хитросплетениями церковного догмата прокладывалась дорога к христианской Троице, образу поэтическому, но в котором христианская теория через Святой Дух уравнивала Сына с Отцом, а христианская повседневная практика даже возвышала Сына над Отцом.

— Бог хоть и один, но троичен в лицах, — с жаром возражал Федору Коробкин, явно повторяя твердо усвоенные проповеди, ибо он бывал в Суздале и во Владимире и собирался поступать в духовную семинарию, — Бог троичен в лицах. Троица — Отец, Сын и Святой Дух. Если бы Бог был одинок, то откуда зародилась бы любовь?

— От одиночества, — сказал Федор, — от одиночества Бог сотворил небо и землю... Вот почему и Иисус говорит богатому юноше — что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог.

— Один Бог значит и Отец Бог, и Сын Бог, и Святой Дух Бог, — выпевал Коробкин, — догмат о Святой Троице есть высшее единство в любви. Такие же, как ваши, лукавые речи есть ересь сектантская. Это субботники так говорят, жидовствующие, это они Троицу разъединяют. Те, кто прогнанный Моисеев Ветхий Завет ставит выше Господнего, христианского... Недаром у святого апостола Павла в Послании к евреям сказано: Христос превыше Моисея и Иисуса Навина, Христос превыше Аарона... Читать Ветхий Моисеев закон невозможно — смердит. Сплошное убийство и разбой. У нас — возлюби врага своего, у них — око за око, зуб за зуб и лучшего из гоев — убей...

Федор хотел ответить Коробкину толково, объяснить, где он путает, а где просто лжет, но все смешалось у него в голове, и он начал горячиться, сверкать глазами, недобро ухмыляться, как в бытовых скандалах и тесных, неудобных российских местах. Видя такую беспомощность Федора, Коробкин укоризненно, кротко усмехнулся и отошел с победным видом. После этого спора они больше не встречались, а если видели друг друга случайно, то отворачивались. «Мне повезло, — думал Федор, — не всегда удается так быстро избавиться от навязавшегося чуждого человека. Но вот роль, роль после этого разговора не идет. В каждом слове попапатриота Коробкин слышится. Впрочем, не Коробкин, а коробкины. Сколько их...» Вспомнилось, как месяца полтора

тому вошел в вагон метро на станции «Сокольники» старик с клюкой-посохом, бедно одетый, в телогрейке, несмотря на лето. Глаза водянистые, на лице седая щетина. Вид странника. Федор исподтишка начал к нему присматриваться как к типажу, который может пригодиться в работе над ролью. Обычно тихая станция «Сокольники» в те дни была многолюдна из-за американской выставки в Сокольническом парке. Федор и сам собирался на эту выставку, но слышал, что приходится стоять в долгой очереди. Впрочем, Ирина обещала устроить посещение вне очереди. Особенно много на выставку стремилось молодежи. Тех, кто посетил выставку, сразу было видно по оживленному блеску глаз и по американским эмблемам. И старик-странник вошел с сумочкой, на которой была этикетка американской выставки. Вошел вместе с обычной оживленной студенческой стаей. Старик, наверно, заметил, что Федор на него поглядывает, и сам, в свою очередь, не исподтишка, как Федор, а открыто посмотрел Федору прямо в лицо.

— Долго стояли? — в ответ на открытый взгляд старика решился спросить Федор.

— С полседьмого утра, — охотно отозвался старик, — у меня часов нет... Сейчас сколько?

— Час дня... Понравилось?

— Как кому, — на этот раз уклончиво ответил старик.

— А вам? — спросил Федор.

— Мне очень, — восторженно ответил старик и тут же глянул на Федора с беспокойством. — А чего это вы меня спрашиваете?

— Я вижу, вы из провинции, — заметив беспокойство старика, как можно доброжелательнее сказал Федор.

— Да... Я верующий христианин. Приехал, может, Псалтырь достану. Ничего нет. Негде купить.

— А в Загорске? — попробовал подсказать Федор.

— Нет, там нету, — уже открыто враждебно сказал старик, — я сам иудаизму враг. Мне Псалтырь нужен. Сатана

только тело убить может, а не дух. От креста он бежит, — насмешливо бросил старик вслед Федору, который торопливо пробирался к выходу из вагона, уж не рад, что затеял разговор.

Теперь, после ссоры с Коробкиным, вспомнив и этот, в чем-то подобный, эпизод, Федор решил: «Надо отказаться от чужой мне роли... Это неприлично, нечестно играть то, что тебе чуждо... Надо отказаться». Но, решив, он по-прежнему читал Евангелие, особенно часто тот эпизод с богатым юношей, которым хотел ответить Коробкину, но не смог, поскольку чувствовал, что не все понимает твердо.

«Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит Ему — какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит Ему: все это сохранил я от юности моей; чего еще недостает мне? Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим; будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, и следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие».

«Игольные уши, — комментирует церковный догмат, — можно понимать и в буквальном и в переносном смысле. „Игольными ушами“ в древней Палестине называли узкие ворота в городской стене, предназначенные для прохода пешеходов. Но каков бы ни был точный смысл этого выражения, ясно, что Господь настаивает на одной мысли — богатому трудно войти в Царство Небесное».

«„Игольные уши“, — думал Федор, — они намерены понимать в буквальном и переносном смысле. Суть же сказанного — только буквально. Стать по-христиански совершенным

бедному легче, это верно, потому что ему нечего терять, кроме собственных цепей. Нищета у него уже изначально присутствует. Продавать ему нечего, раздавать ему нечего, но ведь и заслуги в этой изначальной нищете нет, нравственного подвига тоже нет. Каков же для него путь в Царство Божие? Да и в обычном ли богатстве или бедности тут главный смысл? Ради такой ли примитивной мысли строит Учитель свою притчу? Почему так социально, в стиле догматического марксизма комментирует эту притчу церковный догмат? Не от желания ли затемнить смысл, как затемняют они смысл и Троицей? Все делается ради одного и того же. Ради чего?»

«Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им: человеку это невозможно, Богу же все возможно! Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили все и последовали за Тобою; что же будет нам? Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, — в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах, судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и последует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми».

Из этого важного разговора с апостолами видно, что Иисус понимал под богатством, имеющимся у человека, не только деньги и имение, а прежде всего мать и отца, и детей, и сестер, и братьев, и дом родной, и землю родную — все, чем истинно богат человек на этом свете. Только те, кто оставит все это свое богатство, те будут совершенны и смогут войти в Царство Божие. Все же иные, кто хочет сохранить и отца, и мать, и землю родную, должны жить библейскими заповедями, быть несовершенными, но честными людьми. Притча о богатом юноше фактически есть притча о соотношении меж заповедью и проповедью,

меж иудаизмом и христианством. Но церковному догмату, которому для оправдания своего обособленного существования необходим был с самого начала иудейский враг, надо было подменить и извратить ясные заповеди Иисуса. В этом оно нашло поддержку у масс, ибо главное было — отбросить путы закона, потому что в борьбе за физическое существование надо было и украсть, и убить, и возненавидеть ближнего. Верующий иудей, совершая зло, знает, что он идет против Бога. Верующий христианин, совершая зло, сохраняет гармонию души, сохраняет через церковное покаяние свои отношения с Богом, ибо непротivление злу давно подменили покаянием в содеянном зле. И так жили и живут многие, наподобие христианской семьи Федора. Повсюду, куда ни глянь, видел Федор своих отцов и матерей. Святыми они быть не могли, а честными быть не хотели.

Рядом с санаторием был маленький фруктово-овощной базарчик, где продавали яблоки, клюкву, огурцы, бурые северные помидоры. Однажды, придя за покупками, мимоходом услышал Федор, как одна из торгующих женщин, с крестиком на груди, рассказывала другой женщине, причем говорила с безучастным лицом, взвешивая одновременно клюкву:

— Убивает меня мой, убивает. И сын, сколько я его ни проклинаю, тоже бьет. Ничего, сын в армию уйдет, а мой не жилец. Земля его не примет.

«Какая кроткая злоба, — подумал Федор. — Злоба не новость в этом мире, но кроткая злоба, сердечное лицемерие — это уж чисто христианское явление. Открытая злоба, подобно пожару, тратится и исчезает, а кроткая злоба копится годами, десятилетиями, веками. Может быть, поэтому катаклизмы христианского общества особенно сильны. Накопившаяся кроткая злоба, подобно лаве, истекает наружу. А социальная основа этой кроткой злобы — христианский культ бедности. Не помощь бедным, существующая

и в иудаизме, и в мусульманстве, а восхваление и возвеличивание бедности».

Так думал Федор, размышлял ночи напролет, и угнетенное состояние, в котором пребывает всякий, мучительно думающий, было замечено лечащими врачами. Федор по этому поводу беседовал с главврачом санатория Цвибаком. Однако помогла не только беседа, но и характер Федора, привычка профессионального клоуна, умение на время и вовремя оставить угнетающие заботы за манежем. Приняв твердое решение отказаться от роли, раньше столь его привлекавшей, Федор начал постепенно успокаиваться, и ему теперь гораздо легче было последовать совету доктора Цвибака не читать ничего угнетающего, по крайней мере до окончания лечения. Религиозно-патриотический сценарий и Писание Федор убрал с глаз долой, запер в чемодан, отчего настроение его сразу улучшилось. Он испытывал чувство человека, добровольно измучившего себя долгой ходьбой по камням и теперь наслаждавшегося жизнью неподвижной, то есть бездумной. «Если уж существовать, — думал Федор, — то не лучше ли мыслить трезво, то есть весело, как мыслил я в молодости, а не как теперь — опьяняюще-тяжело». Вспомнилось, как в молодости начинающим клоуном он выходил с длинной толстовской бородой и обыгрывал свою фамилию Тонкий, сравнивая ее с Толстым. «Раз Толстой растолстел», — каламбурил Федор. Ведь если поразмыслить, посмотреть со стороны, то в Толстом действительно много смешного. И фамилия — все-таки Толстый. А разве не смешно, как в последней, 28-й главе романа «Воскресение» Толстой предлагал простой путь построения Царства Божия на земле — путем непротивления злу и прочее и прочее... В этой главе Толстой чем-то напоминал Федору отца, Егора Лазаревича, малограмотного Шопенгауэра, когда тот начинал философски мыслить. Впрочем, человек иногда становится смешон, когда он изнемогает от духовной усталости. Так случилось и с 28-й главой романа «Воскре-

сение», завершающей 27 глав, наполненных жгущей сердце правдой, от которой не было спасения нигде и ни в чем, разве что в смешной, опьяняющей лжи.

Гонишь тяжелые мысли в дверь — они лезут в окно. Действительно, несколько дней отдыха, бездумья минули, и опять полезли мысли, главным образом ночью, в открытое окно... Правда, уже не из Писания, не из Толстого, а обычные бытовые, тяжелые мысли. Вспомнилось, что когда отец переодевался, на нем были рваные кальсоны, состоящие из одних латок. В передней были вбиты гвозди, и на них развешано бережно тряпье, старый хлам, словно из мусорного ящика. «Надо ему помочь, — думал Федор, — нанять, что ли, женщину, которая бы за ним следила».

Ночи были душные, хвойный воздух казался приторным, иногда налетал свежий ветер, хлопало беспокойно открытое окно, беспокойно пузырились занавески, но затем опять все затихало, гроза шла стороной, громыхало где-то в отдалении. Беспокоило также, что режиссер, обещавший позвонить через неделю после первого своего звонка, так более и не позвонил, а звонить отсюда в Москву было трудно: телефон стоял только в кабинете главврача и возле дежурной. Приняв решение отказаться от роли, Федор считал своим долгом предупредить режиссера как можно скорей. Если б Ирина была в Москве, она бы позвонила и можно было б передать через нее. Однако Ирина была на гастролях в Болгарии. «Отчего он не звонит, — нервничал Федор, — может, уже сам отказался от моей кандидатуры, взял другого? Потому и не звонит. У нас так — отказался, забыл». И Федор опять начал сомневаться, правильное ли он принял решение. «Я профессионал, — думал Федор, — мне предложили необычную, неординарную работу. Я не согласен с ее идеей, но, в конце концов, дело не в идее, а в духе. Идея только сосуд, только меха. Важно, чем они наполнены». И Федор отпер чемодан, достал сценарий, а заодно и Писание. И опять начал читать: «Дети! Как трудно надеющимся

на богатство войти в Царство Божие». «Дети», говорит Иисус людям, многие из которых были старше Его. «Не мир пришел я принести, но меч. Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью, и невестку со свекровью. И враги человеку домашние его... И когда Он еще говорил к народу, мать и братья Его стояли вне дома, желая говорить с Ним. И некто сказал Ему: вот Мать Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобой. Он же сказал в ответ говорившему: кто Мать моя? И кто братья мои? И, указав рукой своею на учеников своих, сказал: вот мать моя и братья мои». Но богатый юноша не захотел платить такую цену ради Царства Божия и предпочел совершенству дом свой земной и мать свою и отца своего...

Углубившись в чтение, в раздумья, Федор не расслышал телефонного звонка. Телефон стоял в коридоре, возле дежурной, недалеко от номера, и всякий раз, когда телефон звонил, Федор поднимал голову, прислушивался — не к нему ли, а иногда даже выходил в коридор. Однако теперь дежурной пришлось постучать в дверь. «Наконец-то, — обрадовался Федор, — нет, все-таки не откажусь. То, что я передумал, перечел, должно иметь выход». Идя торопливым шагом к телефону, Федор уже приготовил первые фразы, но вместо чуть скрипучего голоса режиссера скучно-бытово прозвучал голос сестры:

— Это ты, Федя? Это я, Дуся. Федя, отец тяжело заболел. Не может ни стоять, ни лежать. Моча красная.

— Когда заболел? — спросил Федор, чувствуя, как пересыхает у него горло.

— Уже с неделю заболел. Я дозвониться к тебе не могла.

— Где он?

— Он у меня лежит. Пришел, говорит, убивайте меня... Фельдшер говорит — сердце и мочевая болезнь. Уж речь отнялась. — Дуся всхлипнула.

— Я постараюсь приехать как можно скорее, — сказал Федор, — постараюсь привезти хорошего врача.

К счастью, доктора Цвибака Федор нашел быстро в его кабинете.

— Чудно, что вы явились, — сказал Цвибак, — я как раз смотрю историю вашей болезни.

— Извините, доктор, — перебил Федор, — речь теперь не о моей болезни, а о болезни отца, ради этого я и пришел.

— Но разве вы здесь с отцом?

— Нет, мой отец живет недалеко, на такси час езды. Сестра говорит, у отца уже кровь в моче и речь отнялась...

— М-да... Но как же я поеду? У меня обязанности здесь, в санатории.

— Доктор, прошу вас... Разумеется, ваше милосердие оценить невозможно, но ваш труд и причиненное вам беспокойство я оценю высоко.

— Ах, не в этом дело, — сказал Цвибак и, сняв очки, держа их в правой руке, оперся на эту руку лбом, близи-руко щурясь. — Где живет ваш отец?

Федор назвал село.

— Там, по-моему, в районе хороший стационар... Впрочем, именно там недавно умер больной пневмонией, которому даже не удосужились сделать рентген легких...

— Значит, можно надеяться, доктор? — сказал Федор. — Я постараюсь найти такси.

— Это нелегко, да к тому ж я на колесах. Правда, до-рога туда ужасная и дождь собирается, точнее, уже идет.

Дождь уже шел, щелкая в оконные стекла, сквозь мок-рую пелену видно было, как мотало деревья. Гроыхало в отдалении, но все ближе.

— Ждите меня в вестибюле, — сказал доктор, — через десять минут я готов.

Доктор был рыжеват, с бесцветными почти ресницами, обрамляющими серые мягкие глаза за толстыми стеклами очков. Сам облик доктора внушал Федору надежду и ус-покоение. «Если б зависело от меня, — подумал Федор, — вот он, верный кандидат в Царство Божие».

Когда выехали, гроза уже полностью разбушевалась, грохотало непрерывно, как при орудийной канонаде. Небо было серо-зеленым. Ветер гнул, терзал кусты и деревья вдоль дороги, и когда Федор выглянул из машины, ища объезд, целая туча водяных брызг понеслась ему в лицо, забивая дыхание. Свернули на шоссе, машина пошла легче, да и успокоилось, дождь ровно шумел.

Войдя в дом с промытого грозой воздуха, сразу же погрузились в волну застойно-теплую, с запахом мочевины. Федор видел отца своего три недели назад и, глянув на него сейчас, даже не поверил, он ли это. Большое грубое лицо ужасно исхудало, побледнело, под глазами черные отеки. Когда Федор взял отца за руку, то обычно тяжелая как кувалда рука сельского кузнеца оказалась невесомой, бессильной, как у схимника-монаха. Отец полусидел на постели, под спину и под бок его были подложены подушки. Он как слепой смотрел мимо плеча наклонившегося к нему Федора, дышал учащенно, выдыхаемый изо рта воздух был необычайно холоден и пах остро, то ли аммиаком, то ли ацетоном.

— Чуть притих теперь, — сказал Самсон, — а то уж очень сильно страдал и все мать свою звал. «Мамочка, — кричит, — мамочка!..» Сам старик, а от боли звал мать, как ребенок.

— Пойди, Самсон, пойди к детям, — сказала Дуся, — уходи, не мешай. Дети теперь у Сони живут в доме, и Самсон при них, пока Соня из Анапы не вернулась, — начала объяснять она Федору, но, увидав, что тот не слушает ее, добавила, как бы оправдываясь: — Невозможно же детям жить в этом ужасе.

Цвибак велел зажечь возле кровати настольную лампу и вскипятить воду для шприцев.

— Как у больного аппетит? — спросил Цвибак Дусю.

— Ничего не ест, — сказала Дуся, — я уж ему и не даю. Увидит еду, рвать начинает. Пить все время просит. Пока

говорил, просил все время, а как говорить перестал — глазами просит.

Цвибак прослушал сердце, проверил пульс.

— Пульс напряженный, но ритмичный, умеренно учащенный, в допустимых пределах. Как отца зовут? — спросил он Федора.

— Егор Лазаревич, — торопливо за Федора ответила Дуся.

— Егор Лазаревич, вы меня слышите?

— Он слышит, — сказала Дуся, — я по глазам вижу. Он в себя пришел и узнает всех.

— Егор Лазаревич, покажите язык, — сказал Цвибак.

Отец раскрыл рот и показал сухой, обложенный серовато-грязным налетом язык.

— Да, язык неважнецкий, — сказал задумчиво Цвибак, — и стул, очевидно, жидкий?

— Понос с примесью крови, — сказала Дуся и вдруг заплакала громко, торопливо вышла и вернулась, всхлипывая, неся вскипяченную воду.

По указанию доктора Федор и Дуся поворачивали отца, держали его в нужном положении, пока Цвибак делал внутривенное вливание, а затем делал клизму со специальным раствором медикаментов. Наконец отца уложили и прикрыли по грудь одеялом.

— Доктор, есть надежда? — спросил шепотом Федор, глядя на сливающиеся с белой подушкой щеки отца. — Можно, доктор, надеяться?

— Надеяться можно, — сказал Цвибак, сидя у стола и выписывая рецепт, — конечно, лучше бы его в нефрологическое отделение, в почечный центр или, уж в крайнем случае, в отделение неотложной помощи. Но не знаю, на нынешней стадии как он выдержит транспортировку, да еще по нашим дорогам. К тому ж, знаете, Федор Егорович, буду с вами откровенен, здешний нефрологический центр хорошей репутацией не пользуется. И с коечным фондом

у них тяжело. Так что попробуем для начала в домашних условиях. Завтра я приеду с медсестрой и попробуем провести промывание. Сейчас главное — восстановить функции почек, а уж потом можно будет заняться улучшением глубоких расстройств. Это уж стационарно. Я надеюсь, вы найдете возможность устроить отца в московскую клинику. — Он посмотрел на рецепт, который оставил на столе, и разорвал его. — Я привезу завтра нужные медикаменты... В аптеке, наверно, этого не найти...

— До зависти хороший человек, — сказал Федор Дусе, когда доктор ушел.

— Да, заботливый, — сказала Дуся, — спасибо ему... Только хлеб со стола на всякий случай не убирай, — добавила она, когда Федор в задумчивости помогал Дусе наводить порядок и, взяв со стола полбуханки хлеба, понес к буфету, — при больном стол не должен быть чистым. Чистый стол — это к покойнику. Как отец заболел, у меня постоянно на столе хлеб да соль. Отец ведь очень жить хочет, очень надеется. Верит и не верит, что жив будет. Когда приступ начался, почти с инфарктом пошел на почту, взял деньги. Если помру, говорит, чтоб не украли. Он с деньгами ко мне пришел, на деньгах своих и лежит, под матрацем держит. Зачем же, говорю, ты плохо питался, копил? Я, говорит, копил, чтоб мне на старости стакан воды дали. Он в добро не верит, потому что всю жизнь делал зло. Поговорила я с ним, ругаться начала, он уж и домой хотел уйти, но тут боли начались сильные. Он три дня подряд просил, сперва словами, а потом глазами, перевести его домой. Вставал, надевал брюки. Я с ним замучилась. А уж когда совсем прихватило, он только кричал и плакал. Спать не мог. Вот, слава богу, хоть спит. Это в несчастье надо еще и счастье иметь, что ты рядом в санатории был и хорошего доктора привез. Видно, много денег придется заплатить, вот и пригодятся отцовские из-под матраца.

— Нет, — сказал Федор, — я сам заплачу. Главное — отца в порядок привести. А деньги его трудовые я трогать не хочу.

— Трудовые, накопленные, — сказала Дуся, — у него одно время падчерица жила, чтоб обслуживать... Ну, не падчерица, как сказать, Юшки-сапожника внучка. Она две ложки сахара в чай берет, отец говорит — одну... И бежит за ней, как за воздухом, — добавила Дуся не совсем понятно.

Федор так и не понял, что имела Дуся в виду под этим сравнением. Дуся вообще, когда отцу стало лучше, все чаще возвращалась к прежнему, нервничала, ворчала, выражала недовольство, но в ворчании этом уж не было прежней ненависти, когда отец и дочь мечтали друг друга убить, скорее, ворчала покровительственно, как на малого да слабого. Когда Федору и Дусе приходилось купать отца, он стеснялся голого тела своего перед сыном и дочерью, и от этого особенно усиливалась отцовская слабость перед детьми своими, которые прежде трепетали его.

Доктор Цвибак приезжал каждый день после обеда, иногда один, иногда с медсестрой. Привозил медикаменты, которые где-то доставал, проводил процедуры, и здоровье отца заметно улучшилось. Отец уже мочился без болей и без крови, прекратились поносы. Анализы, которые Цвибак отдавал делать в больничную лабораторию, подтверждали улучшение.

— Я думаю, больной вышел из жизнеугрожающего состояния, — сказал Цвибак, получив последний анализ, — крови в моче нет, хоть имеется еще некоторое количество белка.

Федор слышал, как медсестра, передавая анализ Цвибаку, сказала:

— Удельный вес мочи низкий.

Это высказывание почему-то особенно взбудрило Федора, хоть какой должен быть нормальный вес мочи, он не

знал. Беспокоило, что речь пока так и не вернулась, но Цвибак успокаивал — это состояние временное.

— Главное — интенсивно продолжать лечение и соблюдать бессолевую и безбелковую диету, — говорил Цвибак, — и хорошо бы облепиховое масло. В аптеке, разумеется, его не достать.

— Облепиховое масло, — хватался за блокнот Федор, — я постараюсь позвонить; если не дозвонюсь домой, то, может, к друзьям.

— Облепиховое масло и через влиятельных друзей достать непросто, — говорил Цвибак, — и время дорого, уж я попробую здесь что-либо, попробую флакон достать в онкологическом диспансере.

— Доктор, вы наш ангел-спаситель, — говорил Федор, — уж не знаю, чем вас отблагодарить.

— О, с тех пор как изобрели деньги, это не проблема, — шутил Цвибак, — питайте Егора Лазаревича хорошо, питайте, — добавлял он. — Главное — восстановить физические силы и притом не спровоцировать вновь воспалительный процесс в почках. Уж придется похлевать Егору Лазаревичу бессолевых супчиков.

И отец, изголодавшись за время приступа, действительно ел лучше и лучше, аппетит у него, человека сильного, привыкшего к тяжелой кузнечной работе, всегда был хороший. За один присест съедал полбуханки хлеба, полкило жирной селедки, что, возможно, и было причиной такого острого приступа. Теперь же, вынужденный отказаться от этой грубой и ядовитой для него пищи, он съедал по три тарелки бессолевых протертых супчиков, ел нежирное мясо, сперва сваренное, а затем слегка обжаренное, — все это по диетическому меню Цвибака на деньги Федора готовила Дуся. Может быть, от такого диетического, но слишком обильного питания у отца начала наблюдаться к концу дня некоторая отечность ног. Поэтому Цвибак велел строго соблюдать правила: не более одного килограмма пищи, включая жидкость.

— Если будет Егору Лазаревичу голодно, — сказал Цвибак, — давайте ему парное молочко, а чтоб не было пучения живота, в каждый стакан добавлять по одной столовой ложке известковой воды.

— Ужас какой заботливый, — сказала Дуся, — как об отце родном... Видно, много денег за лечение и заботу возьмет.

— Перестань, Дуся, — рассердился Федор, — можно ли так говорить о человеческой доброте.

— Я не спорю, Федя, — примирительно сказала Дуся, — только спроси насчет денег.

И на следующий день во время визита Федор, испытывая неловкость, все-таки спросил. Доктор присел к столу, вынул блокнот и, заглядывая в него, начал что-то выписывать и подсчитывать, а затем протянул бумажку Федору. Федор собирался щедро отблагодарить доктора, однако сумма, которую предъявил Цвибак, ошеломила его настолько, что доктор это заметил.

— Здесь все написано, — сказал доктор, — стоимость лекарств и прочее... Лекарства, разумеется, пришлось доставать не в аптеке...

— Я не о том, — заторопился Федор, которому было особенно неловко, что Дуся, с ее недобрым, корыстным пониманием жизни, как будто в чем-то оказалась права, — я просто должен созвониться с женой, доктор, потому что...

— Я понимаю, я понимаю, — сказал доктор, — я подожду...

Доктору, видно, тоже было не совсем приятно, он заторопился, сказал, что сегодня спешит, но зато завтра придет пораньше. И, уходя, посоветовал дать отцу на ночь таблетку хлористого натрия.

Дело в том, что отец, устав от бессолевой диетической пищи, упросил Дусю, точнее, написал свою просьбу на бумажке, дать ему черного хлеба с салом, ради чего Дуся специально ходила к отцу домой и принесла ему протезные

зубы из красного пластика, которые он сам себе смастерил. Этими красными зубами («Очевидно, белый или желтый пластик отец не достал», — подумал Федор) отец с наслаждением прожевал хлеб с салом, а вскоре после того у него началась рвота. К счастью, приехавший доктор принял меры, дал отцу успокаивающее и еще раз строго-настрого запретил нарушать диету, если они хотят видеть отца живым и здоровым.

Прошедший день был неприятным и суматошным. Тем более что телефон московской квартиры, куда Федор в очередной раз звонил с почты, упорно не отвечал. Видно, Ирина задержалась на гастролях. «Как же быть, — думал Федор, — где достать денег, чтоб расплатиться с доктором? Примерно треть у меня есть. Где же достать две трети?» Пришлось посоветоваться с Дусей.

— Где достать? — сказала она. — Под матрацем у отца, где же еще... У него там более шести тысяч, — сказала она уверенно, и Федор понял, что Дуся уже лазила под матрац и считала деньги. — Это на его же лечение...

— Да, видно, иного выхода нет, — сказал Федор, — отец проснется, я ему напишу на бумажке, что беру у него займы для расплаты с доктором и обязательно отдам...

— И говорить не надо, и отдавать не надо, — сказала Дуся.

— Нет, я отдам отцу все до копейки...

— Ну, дело твое... А говорить не надо, чтоб осложнений не было. Взять, пока спит, да и все. Хочешь, я возьму? И отцу так лучше будет, знать не будет и волноваться не будет.

Но в этот день толково ничего не получалось. Едва Дуся сунула руку под матрац, как отец, похоже во сне или полусне, вцепился Дусе в плечо с криком:

— Дуся украла деньги!

И крикнул он это с такой ненавистью и ухватил ее (возможно, пытался вцепиться в горло, но не дотянулся)

так цепко для ослабевшего больного, что Федор в первое мгновение даже не сообразил — ведь в целом-то событие радостное, поскольку отец обрел речь.

Действительно, утром доктор, осмотрев отца, нашел его состояние вполне удовлетворительным, посоветовав, правда, первые дни после восстановления речи говорить с ним поменьше и соблюдать покой, ибо, как он выразился, появились экстратона сердца, то есть добавочные тона, временами даже галопы ритма, впрочем нередко встречающиеся как побочные явления при нормализации шоковых состояний.

— Это вопрос нескольких дней, — сказал доктор, которому перед уходом Федор вручил объемистый конверт с денежными купюрами.

— Сердечное спасибо, доктор, — сказал Федор, — мой отец воистину воскрес.

— Главное, чтоб не возобновились стенокардические боли, — сказал доктор, пряча конверт с деньгами в портфель.

«Все налаживается, — думал Федор, — конечно, возможны неожиданности, но пик беды уже позади».

В тот же день ему удалось наконец дозвониться домой и поговорить с Ириной.

— Я волновалась, — сказала Ирина, — гастролы в Болгарии у нас затянулись. Приезжаю — тебя нет. Звоню в санаторий — говорят, ты давно уехал.

Федор объяснил жене причины своей задержки и попросил ее срочно выслать телеграфом деньги, объяснив зачем. Попросил он также Ирину похлопотать о хорошем московском стационаре для отца и о санатории после стационара.

— Кстати, — заканчивая разговор, сказал Федор, — не звонил ли тебе режиссер? (Федор назвал его по фамилии.)

— Ах, я не хочу тебя дополнительно расстраивать, — сказала Ирина, — фильм ведь закрыли. Режиссер лежит с инфарктом. Когда болеют старики, жалко, а тут ведь молодой талант, гордость отечественной культуры.

— Да, ужасно, — сказал Федор.

— Ах, этих проблем нам с тобой не решить, — сказала Ирина, возвращаясь к первоначальной теме, — ты-то когда домой приедешь?

— Не знаю... Пока не приведу отца в порядок, останусь здесь.

— Но ведь там твоя сестра.

— Видишь ли, Ирина, между отцом и сестрой сложные отношения... Я вообще хотел бы, чтоб отец переехал к нам... То есть он вполне может постоянно жить на даче. Он даже захочет жить на даче. Он, знаешь, слесарь — кузнец, золотые руки. Если надо что-либо починить...

— Это идея, — сказала Ирина, — я ведь, кроме Агаши, хотела брать на дачу сторожа...

Обрадованный тем, что разговор, к которому он готовился с тревогой, окончился благополучно и его предложение о переезде отца к ним было неожиданно легко поддержано женой, Федор решил в ближайшие дни, как только отец окрепнет и с ним можно будет говорить подольше, спросить, согласен ли он переехать в Москву. «Еще может отказаться, — подумал Федор, — привык ведь жить по-своему, а там придется жить по-ихнему, как по-ихнему придется жить мне».

Отец не отказался, но и не согласился, ответив неопределенно:

— У тебя, верно, там, Федя, паркет? Э-хэ-хэ... Паркет... Сейчас лежал, вспоминал молодость... Эх, помню, выходим мы, флотские, глядим, ихних мало... Так, стоит какой-то мелкий патрулишко... Заходим в барский дом. Выходит на встречу маленький старичок: «Кто матросню на паркет пустил? Здесь вам не палуба, молодой человек». Э-хэ-хэ... Ты этого, Федя, не знаешь. Был у тебя отец молодой... Веселая жизнь была. Эх, где она? Нет ее, а все про нее помню. Точно помню то, чего не было... Паркет, да, паркет... Помню, когда был я мальцом, отец мой, Лазарь Иванович, дед

твой, взял меня впервой на ярмарку и купил надутый воздухом зеленый шарик. Шарик тогда дорогие были — пятьдесят копеек штука. Только богатые дети могли иметь шарик. А отец купил. Было мне тогда лет пять. А как было еще менее, помню, мать меня укачивала да пела:

Бог тебе дал,
Христос даровал.
Пресвятая Похвала
В окошко подала,
Егором назвала.
Нате-тко да примите-тко.
Спи с Богом со Христом,
Спи с Ангелами,
Спи, дитя, до утра.

Э-хэ-хэ, смешно. Все помню. — Он замолк, затих, и Федору даже показалось — уснул, но когда Федор захотел тихо встать, чтоб не тревожить, отец его окликнул: — Я не сплю, Федя, не сплю... Бурсука надо с цепи спустить, — добавил он вдруг.

Вообще был он в тот день то разговорчив, то молчалив, то весел, то озабочен. Впрочем, день был душный, видно, опять собиралась гроза, небо было лишь в отдельных клочках облаков, но где-то уже громыхало. Дуся, которая, в отличие от Федора, помимо болезни отца, несла на себе бремя и иных повседневных обязанностей, поехала в Город на базар продавать творог, сметану и молоко. С базара она зашла к Соне покормить внучат и Самсона, и Федор с отцом были весь день наедине. Тяжелый был день, и для здорового тяжелый. Случаются такие дни в преддверии грозы — при общей неподвижности хочется метаться, искать удобного положения, звуки в горячем воздухе глухие, и все несносно, все надоело, глядеть не хочется. В тот день Федор совсем замучился с отцом.

— Пока, — говорит, — Дуси нет, помоги мне домой вернуться.

И уговаривал его Федор, и убеждал, и даже раз прикрикнул, чуть не силой уложил, а возвращается из кухни, где разогревал суп, — отец стоит уж посреди комнаты, в брюках, в привезенной Федором кепке на голове, хоть и босой.

— Помоги, — говорит, — домой вернуться.

«Какой упрямый старик, — с раздражением подумал Федор, — на старости впал в детство. Отчасти можно Дусю понять. Как же он у нас с Ириной поладит? И с Агашей на даче? Ох, еще хлебну я горя в полной мере. Может, лучше было бы тут ему женщину в услужение найти да денег высылать в дополнение к пенсии? Может, так оно и для него и для нас лучше было б, может, поторопился, пригласив в Москву?»

Вечером пришла Дуся, глянула на расстроенного Федора, все поняла.

— Ну что, — говорит, — приятно было тебе весь день с отцом наедине? Мармелад в шоколаде.

— Оставь, Дуся, всякий больной человек капризен, видишь, медсестра сегодня чего-то запаздывает с уколом. Отец укол глюкозы не получил, потому особенно нервничает.

Действительно, медсестра приехала в тот день поздно, задержали дела, а потом и начавшийся сильный дождь. Сделала она отцу укол, и после укола отец спокойно уснул. Федор — усталый — тоже быстро уснул в своей комнате, как провалился. Часа в четыре ночи, — еще не рассветало, но ночь уже поглубела — проснулся Федор, вначале не поняв отчего. Вдруг слышит он странные вздохи из отцовской комнаты — длинные, протяжные, негромкие и какие-то безразличные. «Надо пойти к отцу, — подумал, — видно, лежит неудобно или чего-то хочет, а сказать не решается. Он после обретения речи не всегда и слова помнит». Входит он и первое, что видит в свете ночника, постоянно горевшего в отцовском изголовье, — это огромные глаза. Никогда, ни у кого, а у отца тем более, Федор не видел таких больших глаз. Они были безумны и не человеку точно при-

надлежали, а бегущему от пожара большому животному. Подавляя страх, Федор подошел к отцу и невольно сложил его разбросанные руки ему на груди, еще не понимая, что отец только что умер. Федора трясло без слез. Рядом была сестра Дуся, но Федор ее не замечал или забыл о ней. Только он и отец и какое-то пространство вокруг.

Мать Федора умерла тихо, незаметно, никого не обременяя надеждами и не внушая своей смертью страха, а лишь торжественную печаль. Отец же умирал, как титан, борясь и протестуя, так что до последнего момента было неясно, кто победит — отец или смерть. Похоронили мать на старом кладбище, в хорошем месте под большим деревом. Отца же пришлось похоронить на новом кладбище, далеко за селом, возле оврага, потому что на старом кладбище уже давно не хоронили. Когда опускали отца в могилу, пошел сильный дождь и разрытая земля запахла остро, плодородно, точно отец все еще боролся, все не хотел мертво застыть.

— Это ему в наказание, — сказала Дуся, — рядом с матерью не лежит, как хотел, потому что издевался над ней. Никому от наказания не уйти. Знаешь, какой мне сон снился? Что мать не умерла семь лет назад, а ушла куда-то, оттого что отец ее обидел, и живет где-то. Я о том узнала и думаю: вот, как отец ни издевался, а мать его пережила. И, узнав о смерти отца, теперь идет назад. Думаю, надо убрать все после смерти отца в их доме, ведь ты, Федор, видел, в какой грязи он жил. Прихожу — меня не пускают. Там куры, говорят, надо сперва убрать помет. Вот я, говорю, и уберу. Захожу, вижу, мать возится, перебирает вещи, но спокойно, без печали. Она с обидой не примирилась.

Разговор этот происходил на четвертый день после отцовских похорон.

— А как же деньги? — словно растревоженная своим сном, вспомнила о деньгах Дуся. — Что ж этот еврей такие деньги вытащил?.. Он что ж, не знал, что отец все равно умрет?.. В суд на него передать надо...

— Оставь, Дуся, — сказал Федор, — ты же видела, отцу стало лучше, была надежда... Сердце не выдержало. — Но, говоря это, Федор чувствовал какую-то тревожную мусть на душе, и вдруг подумалось: «У меня много друзей евреев, но действительно поди разберись в семитских тонкостях, когда даже добро связано с корыстью. Надо быть Шекспиром, чтоб решиться понять правду об этом племени шейлоков. Филосемитизм так же неправдив, как и антисемитизм. В наших отношениях с евреями, как и во всем, нужна правда... Правда, правда нужна...»

— Может, сердце и не выдержало, — совершенно по-отцовски подняв левую бровь и наклонив голову вправо, сказала Дуся, — только меня фельдшер здешний, Пантелей Кузьмич, в первый же день, как я его позвала, предупредил — отцу не жить... А он же доктор, как же он с умирающего деньги взял? Умирающего ограбил, жидовская морда.

— Экая ты все-таки, Дуся, сволочь, — сказал Федор, стараясь сохранить спокойствие, но тут же закричал: — Сволочь! Сволочь! Ненавижу тебя! Сволочь! — И вдруг возникло дикое, сильное, напугавшее Федора желание схватить с газовой плиты чугунный круг и ударить этим кругом свою сестру Дусю по голове.

— Ну, извини, Федя, — заторопилась Дуся, глядя с испугом на Федора, — я устала, Федя... Ты знаешь, я от усталости вспылчивая...

— Да, да, Дуся, — уже бормотал Федор, думая: «За что же я ее так, ведь я-то еще хуже... Она этого не знает, но я-то знаю». — Ты тоже извини меня, Дуся... Я тоже погорячился от усталости... Обидно, как отец умер... Уже поправлялся, да сердце не выдержало.

Федор вдруг неожиданно для себя заплакал, и Дуся тут же подхватила, как подхватывают песню. Так, сидя за столом, поплакали несколько минут.

— Мне, как отец заболел, — всхлипывая, говорила Дуся, — сон плохой приснился. Ящички из чулана покрала и

землю на стол насыпали. И отец, приснилось, на трех подушках лежит... Лучше бы деньги, которые чужому отдали, на хороший бы памятник ему.

«Неужели я родственно связан с этой женщиной, — тоскливо думал Федор, — это тупое, серьезное лицо, эти злые, удивленные глаза... Дуся выросла в религиозной семье, но какая разница меж отцом, верившим в Бога, и Дусей, ни во что не верящей».

Вообще, вспоминая многих верующих и неверующих, с которыми пришлось встретиться в жизни, Федор убеждался, что большой разницы меж ними нет. «Умница Чехов весьма точно высказался по этому поводу, — думал Федор. — Суть этого чеховского высказывания, как помнится, состоит в том, что русский человек впадает либо в крайность „есть Бог“, либо в другую крайность — „нету Бога“. Середина его не интересует, и потому он ничего не знает либо знает мало. Ведь середина-то, ведь пространство меж крайностями „есть Бог“ и „нету Бога“ как раз и требует духовного труда, обогащающего душу и разум».

Федор чувствовал себя страшно усталым, просто изнеможенным. «Надо быстрее уезжать отсюда, — подумалось ему, — вот только договориться насчет памятника отцу и быстрее уезжать, быстрее бежать отсюда... Ужасно, ужасно устал... Устал и душевно и физически. Как говорит в таких случаях мой друг, цирковой акробат Борис Шаляпкин, я еле стою на руках».

Пришел с работы Самсон, начал оживленно рассказывать:

— По радио передавали, организация освобожденных наций приняла резолюцию, а я не пойму, они за наших или за ихних. — Потом перескочил на другую тему: — У нас зоотехник тоже в артисты хочет пойти, стихи сочиняет: «Она от радости светла, как полная луна». Я спрашиваю, что значит — полная? Он отвечает: полненькая... В телесах...

— Замолчи! — крикнула Дуся.

- Вот домашний НКВД, — улыбнулся Самсон.
- Замолчи, пулемет! — уже громче крикнула Дуся.

И когда она так кричала, то была до ужаса похожа на отца.

Сели обедать. За обедом Дуся начала шумно, визгливо рассказывать:

— Маленький, меньший — умница. Говорит: «Папа, купи мне грязную рубашку, я буду маляр». — И Дуся громко засмеялась, поддержанная Самсоном, так что у Федора отдалось в висках.

«Надо быстрее бежать отсюда, — думал Федор, — вот только с памятником улажу».

Деньги, присланные Ириной, пришлись весьма кстати, потрачены были на похороны и на заказ памятника, который здесь, в лесистой местности, стоил очень дорого, так что выгодней было бы заказать в Москве, и транспортные расходы оправдались бы. Денег у Федора оставалось вприщип на билет да на уплату за багаж, за Бурсука, старого отцовского пса, которого Федор забирал на московскую пенсию. «Уж кого-кого, а собаку Ирина на улицу не выгонит, — думал Федор, — только вот как приучить Бурсука есть мясо? Кости он уже грызть не может, зубы слабые. Питается хлебом и водой, как отец приучил».

Кроме Бурсука, из отцовского имущества Федор взял только роман «Воскресение», который читала его мать незадолго до смерти. Отцовский дом оставался Дусе, которая намеревалась там сделать ремонт и поселить дочь Соню с мужем и детьми. Бурсук от дома своего, из конуры своей уходить не хотел, выл, упирался, но, когда Федор запер дверь на ключ, а ключ отдал Дусе, он сам поплелся следом за Федором.

Ирина была на даче, где не было телефона, и лишь перед самым отъездом Федор наконец дозвонился домой на московскую квартиру, сообщил о смерти отца и обо всем прочем.

— Как умер? — удивилась Ирина. — Ты ведь говорил, все уж в порядке. Я насчет клиники договорилась и насчет санатория.

— Теперь не нужно, — сказал Федор, — были надежды, но умер... Теперь не нужно. — И он поторопился окончить разговор, чтоб не слышать пустых, холодных утешений Ирины — утешений человека, совершенно чужого этой части жизни Федора.

«Ирина так ни разу не повидалась с отцом, незнакома она и с Дусей, — думал Федор, — впрочем, слава богу. Эти две части моей жизни несоединимы и чужды друг другу... Наверно, в каждой жизни есть несоединимые концы, у каждого разные и по-разному, но несоединимые, как стенку нельзя соединить со стенкой». Федор слышал, что молодым отец его жил где-то за Волгой и любил там девушку. Женись он на ней, была бы у него иная судьба и иной характер. Всякая жизнь проходит внутри глухого огороженного пространства, откуда наружу не выглянешь. Рождается человек не полностью огороженным, в молодости остается какой-то простор, какой-то выбор. Но своими идеями и своими делами человек сам себя окончательно замуровывает, и тогда уж создается его судьба, от которой нет спасения. Всякая жизнь проходит на плоскости, и объем ей создают лишь несколько безмолвных могильных метров в глубь земли и бесконечность внутрь неба с ее сиротским, безответным зовом Бога. Безмолвность атеизма и безответность веры. Но сколько бы мы, мудрые атеисты и мудрые еретики, ни говорили правду о ложном или даже лживом пути религиозных верований, эта возможность позвать Бога в глухом, замкнутом пространстве жизни и есть единственная, главная суть религии, ради которой все остальное существует. Эта возможность человеку-сироте позвать Бога, пусть безответно, но позвать, есть единственное оправдание религии с ее косностью, ритуалами, теологическими скандалами и клерикальным земным властолюбием.

Федор вошел в сельскую церковь и купил свечу у какого-то крепкого молодца, занимающегося почему-то старушечьим делом. Во дворе церкви что-то строили, рабочие складывали привезенный кирпич в штабеля. Однако внутри церкви эта мирская суета сменилась для Федора, встревоженного своими мыслями, трепетной тишиной. Церковь была маленькая, бедная, и сырой воздух внутри ее напоминал скит или пещеру. Здесь не было земной власти, существующей в знаменитых красавцах-соборах при людском многолюдии и пышной государственной позолоте, вызывающей, как все государственное, либо восторженное подчинение, либо раздражающий оппозиционный протест. Тут чувствовалось именно жилище Бога, Сын которого шел по земле с нищенской сумой и которого оценили в тридцать сребреников — стоимость нищего и раба. «„Только тот, кто согласен отказаться от отца и матери, от братьев и сестер, от родной своей земли, от земной своей родины ради небесных сокровищ, может считаться совершенным и войти в Царство Небесное“. Так сказал Иисус в разговоре с богатым юношей. Но в состоянии ли человек, живущий в замкнутом пространстве своей жизни, выдержать огненную правду Христовых слов? Может, Церковь для того и существует, чтоб не дать человеку мыслить самостоятельно о конечных вопросах бытия? Ни для кого такое мышление безнаказанно не проходит, ни для малых, ни для великих, ни для первых, ни для последних, ни для Толстого, ни для Шопенгауэра, ни для отца моего, ни для меня. Вот и сейчас не грешу ли я? В церкви надо молиться лишенным мысли чистым словом, а я разумно философствую. Впрочем, может, недаром я, последнее семя Тонких, потомок новгородцев-еретиков, пошел из „бабьей стороны“ в отхожий промысел, не плотником, каменщиком, землекопом, как шли мой дед и мой отец, а клоуном, артистом, лицедеем, которых в древние времена наряду с собаками за церковную ограду не допускали». Да и может ли Церковь, поставив-

шая себе задачу спасти несовершенного человека от жгучей правды Христовых слов, терпеть внутри ограды тех, кто грешно, пытаясь подражать Спасителю, преждевременно будил мертвых и говорил о покойниках дурно. И может ли Церковь, умиленно затемнившая Христовы заповеди, подменившая непротивление покаянием, выдержать обличительный взгляд золотистых, святых собачьих глаз, которыми смотрел сейчас пес Бурсук, ждавший Федора за церковной оградой.

Из церкви пошел Федор и плетущийся за ним Бурсук на кладбище, на свежую отцовскую могилу. «Была бы у отца иная жизнь на плоскости, — думал Федор, — была бы у него и иная жизнь в пространстве. И верил бы по-иному, и умер бы по-иному».

И вот под перестук колес пошла назад, закружилась в обратную сторону «бабья сторона», родная земля, с которой у Федора прервалась последняя связь, последняя нить. «Может, теперь, — думал Федор, — для меня, бездомного, начнется новое бытие, о котором говорил Иисус. Конечно, не святое, не бездумное, но новое, и я сумею понять то, чего не понимал прежде, когда был обременен родиной».

Уже стемнело, исчезли, слились с черным пространством очертания «бабьей стороны», лишь какой-то одинокий огонь, похоже костра, дрожал вдали. Вдруг вспомнилось Федору, покойная мать рассказывала, что в старину поздним вечером палили в поле солому и кликали мертвых родичей, которые собирались вокруг костра.

«Бух, бух, соломенный дух!» — кликали мертвых, гревшихся от могильного холода у костра.

От тьмы за вагонным окном, от одинокого дрожащего огня и от мыслей своих Федору стало не по себе, даже спина похолодела. Он торопливо отошел от окна, вошел в купе и начал слушать разговоры пассажиров, не вдумываясь в их смысл и не понимая их смысла, а лишь отогреваясь от звука человеческих голосов. Потом Федор выпил пива,

захваченного с собой из станционного буфета, лег на принесенную проводником серую влажную постель и неожиданно быстро уснул, хоть ему казалось, что мысли будут мучить его всю ночь. Спал он крепко, но когда проснулся под утро, то было такое чувство, будто во сне мучился бессонницей... Мучил его какой-то сон, какой-то важный, судьбоносный сон, которого Федор не помнил. Помнил лишь одну фразу из этого сна. Кто-то ему сказал: «Надо поменять воду в источнике». А кто это сказал — как ни старался вспомнить, не мог, то ли покойная мать, то ли покойный отец, то ли еще кто-то. «Кто же, кто?» — мучительно думал Федор, и ему казалось, что если б вспомнил, кто именно сказал, то понял бы и тайный смысл сказанной во сне фразы. Однако чем более светлело оконное окно, тем более ускользал смысл, а сама фраза уже казалась вульгарной и прямолинейной. Федор встал, вышел в коридор. За окном среди рассветного холода несло дачное Подмосковье, а «бабья сторона» осталась далеко позади, в ночной мгле.

*Июнь—июль 1988 года
Западный Берлин*